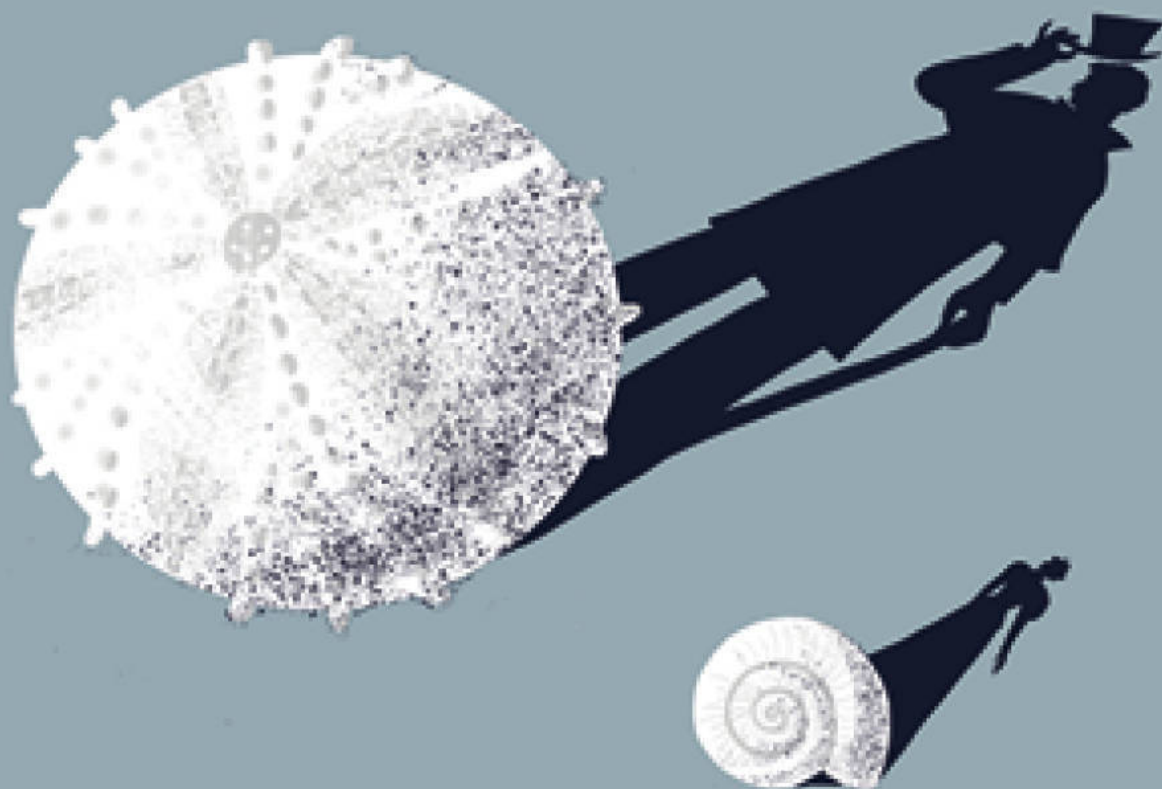


Джон Фаулз

ЛЮБОВНИЦА
ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА



На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза

Джон Фаулз
**Любовница
французского лейтенанта**

«ЭКСМО»

1969

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Фаулз Д. Р.

Любовница французского лейтенанта / Д. Р. Фаулз — «Эксмо»,
1969 — (На берегах фантазии. Проза Джона Фаулза)

ISBN 978-5-699-95710-1

Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся и заслуженно популярных британских писателей XX века, современный классик главного калибра, автор всемирных бестселлеров «Коллекционер» и «Башня из черного дерева», «Дэниел Мартин» и «Куколка». Книги его разошлись многомиллионными тиражами, были переведены на несколько десятков языков и успешно экранизированы. Однако одной из главных визитных карточек Фаулзу по праву служит «Любовница французского лейтенанта». Завлекая читателя пикантной любовной фабулой, сочетая реалистическую традицию с элементами детектива и мистики, Фаулз вступает в полемику с модными псевдовикторианскими романами...

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-699-95710-1

© Фаулз Д. Р., 1969

© Эксмо, 1969

Содержание

1	6
2	8
3	12
4	16
5	20
6	24
7	29
8	33
9	38
10	46
11	50
12	57
13	64
14	67
15	71
16	74
17	82
Конец ознакомительного фрагмента.	84
Комментарии	

Джон Фаулз

Любовница французского лейтенанта

*Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает
человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку.
К. Маркс. К еврейскому вопросу (1844)^[1]*

John Fowles

THE FRENCH LIEUTENANT'S WOMAN

Copyright © 1969 by John Fowles

© М. Беккер, перевод на русский язык, 2017

© И. Комарова, перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство «Э»,
2017

1

*Глядя в пенную воду,
Завороженно, одна,
Дни напролет у моря
Молча стояла она,
В погоду и в непогоду,
С вечной печалью во взоре,
Словно найти свободу
Чаяла в синем просторе,
Морю навеки верна.*

Томас Гарди. Загадка^{1[2]}

Восточный ветер несноснее всех других на заливе Лайм (залив Лайм – это самый глубокий вырез в нижней части ноги, которую Англия вытянула на юго-запад), и человек любопытный мог бы сразу сделать несколько вполне обоснованных предположений насчет пары, которая одним студеным ветреным утром в конце марта 1867 года вышла прогуляться на мол Лайм-Риджиса^[3] – маленького, но древнего городка, давшего свое имя заливу.

Мол Кобб уже добрых семьсот лет навлекает на себя презрение, которое люди обыкновенно питают к предметам, слишком хорошо им знакомым, и коренные жители Лайма видят в нем всего лишь старую серую стену, длинной клешней уходящую в море. И в самом деле, вследствие того, что этот крохотный Пирей^[4] расположен на порядочном расстоянии от своих микроскопических Афин, то есть от самого города, жители как бы повернулись к нему спиной. Конечно, суммы, которые они веками расходовали на его ремонт, вполне оправдывают некоторую досаду.

Однако на взгляд человека, не обремененного высокими налогами, но зато более любознательного, Кобб, несомненно, самое красивое береговое укрепление на юге Англии. И не только потому, что он, как пишут путеводители, овеян дыханием семи веков английской истории, что отсюда вышли в море корабли навстречу Армаде^[5], что возле него высадился на берег Монмут^[6]... а в конце концов, просто потому, что это великолепное произведение народного искусства.

Примитивный и вместе с тем замысловатый, слоноподобный, но изящный, он, как скульптура Генри Мура^[7] или Микеланджело, поражает легкостью плавных форм и объемов; это промытая и просоленная морем каменная громада – словом, если можно так выразиться, масса в чистом виде. Я преувеличиваю? Возможно, но меня легко проверить – ведь с того года, о котором я пишу, Кобб почти не изменился, а вот город Лайм изменился, и если сегодня смотреть на него с мола, проверка ничего вам не даст.

Но если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег в 1867 году, как это сделал молодой человек, который в тот день прогуливался здесь со своею дамой, вашему взору открылась бы на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб возвращается обратно к берегу, пригнулось десятка два живописных домиков и маленькая верфь, в которой стоял на стапелях похожий на ковчег остов люггера. В полумиле к востоку, на фоне поросших травой склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в Средние века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, над усыпанным галькой берегом, откуда Монмут пустился в свою идиотскую авантюру, круто вздыма-

¹ Здесь и далее стихи в переводе И. Комаровой.

лись мрачные серые скалы, известные в округе под названием Вэрские утесы. Выше и дальше, скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые скалы. Именно отсюда Кобб всего более производит впечатление последней преграды на пути эрозии, разъедающей западный берег. И это тоже можно проверить. Если не считать нескольких жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне не видно ни единого строения.

Местный соглядатай (а таковой на самом деле существовал) мог поэтому заключить, что упомянутые двое – люди не здешние, ценители красоты и что какой-то там пронизывающий ветер не помешает им полюбоваться Коббом. Правда, наведя свою подзорную трубу поточнее, он мог бы заподозрить, что прогулка вдвоем интересует их гораздо больше, чем архитектура приморских укреплений, и уж наверняка обратил бы внимание на их изысканную наружность.

Молодая дама была одета по последней моде – ведь около 1867 года подул и другой ветер: начался бунт против кринолинов и огромных шляп. Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в подзорную трубу пурпурно-красную юбку, почти вызывающе узкую и такую короткую, что из-под темно-зеленого пальто выглядывали ножки в белых чулках и черных ботинках, которые деликатно ступали по каменной кладке мола, а также дерзко торчавшую на подхваченной сеткой прическе плоскую круглую шляпку, украшенную пучком перьев белой цапли (шляпы такого фасона лаймские модницы рискнут надеть не раньше чем через год), тогда как рослый молодой человек был одет в безупречное серое пальто и держал в руке цилиндр. Он решительно укоротил свои бакенбарды, ибо законодатели английской мужской моды уже двумя годами раньше объявили длинные бакенбарды несколько вульгарными, то есть смешными, на взгляд иностранца. Цвета одежды молодой дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромности, а яркости и блеска.

Но больше всего озадачила бы наблюдателя третья фигура на дальнем конце этого мрачного изогнутого мола. Фигура эта опиралась на торчащий кверху ствол старинной пушки, который служил причальной тумбой. Она была в черном. Ветер развеивал ее одежду, но она стояла неподвижно и все смотрела и смотрела в открытое море, напоминая скорее живой памятник погибшим в морской пучине, некий мифический персонаж, нежели обязательную принадлежность ничтожной провинциальной повседневности.

2

В том (1851) году в Англии на 8 155 000 женщин от десяти лет и старше приходилось 7 600 000 мужчин такого же возраста. Из этого со всей очевидностью следует, что, если, согласно общепринятому мнению, судьба назначила викторианской девушке быть женою и матерью, мужчин никак не могло бы хватить на всех.

Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века

*Распишу на рассвете серебряный парус,
Понесет меня ветер по буйной волне,
А зазноба моя, что любить обещалась,
Пусть поплачет по мне, пусть поплачет по мне.*

Английская народная песня

– Дорогая Тина, мы отдали дань Нептуну. Надеюсь, он нас простит, если мы теперь повернемся к нему спиной.

– Вы не очень галантны.

– Как прикажете это понимать?

– Я думала, вы захотите, не нарушая приличий, воспользоваться возможностью подольше поддержать меня под руку.

– До чего же мы стали щепетильны.

– Мы теперь не в Лондоне.

– Да, скорее на Северном полюсе.

– Я хочу дойти до конца мола.

Молодой человек, бросив в сторону суши взгляд, исполненный столь горького отчаяния, словно он навеки ее покидал, снова повернулся к морю, и парочка продолжала свой путь по Коббу.

– И еще я хочу знать, что произошло между вами и папой в прошлый четверг.

– Ваша тетушка уже выудила из меня все подробности этого приятного вечера.

Девушка остановилась и посмотрела ему в глаза.

– Чарльз! Послушайте, Чарльз! Вы можете разговаривать подобным образом с кем угодно, но только не со мной. От меня вы так легко не отвяжетесь. Я очень привязчива.

– Вот и прекрасно, дорогая, скоро благодаря священным узам брака вы сможете всегда держать меня на привязи.

– Приберегите эти сомнительные остроуты для своего клуба. – Она с напускной строгостью повлекла его за собой. – Я получила письмо.

– А-а. Я этого опасался. От вашей матушки?

– Я знаю, что после обеда что-то случилось...

Прежде чем Чарльз ответил, они прошли еще несколько шагов; он было намеревался ответить серьезно, но потом передумал.

– Должен признаться, что мы с вашим почтенным родителем несколько разошлись во мнениях по одному философскому вопросу.

– Это очень дурно с вашей стороны.

– А я полагал, что это очень честно с моей стороны.

– О чем же вы говорили?

– Ваш батюшка взял на себя смелость утверждать, что мистера Дарвина следует выставить на всеобщее обозрение в зверинце. В клетке для обезьян. Я пытался разъяснить ему некоторые научные положения, лежащие в основе дарвинизма. Мне это не удалось. *Et voilà tout*².

– Но как вы могли? Вы же знаете папины взгляды!

– Я вел себя в высшей степени почтительно.

– То есть в высшей степени отвратительно!

– Он сказал, что не позволит своей дочери выйти замуж за человека, который считает, что его дед был обезьяной. Но мне кажется, по здравом размышлении он примет в расчет, что в моем случае обезьяна была титулованной.

Не останавливаясь, она взглянула на него и тут же отвернула голову характерным плавным движением, которым обыкновенно хотела выразить тревогу, а сейчас речь зашла как раз о том, что, по ее мнению, больше всего препятствовало их помолвке. Отец ее был очень богат, но дед был простой торговец сукном, тогда как дед Чарльза был баронет. Чарльз улыбнулся и пожал ручку в перчатке, продетую под его левую руку.

– Дорогая, ведь мы с вами все это давно уладили. Весьма похвально, что вы почитаете своего батюшку. Но ведь я женюсь не на нем. И вы забываете, что я ученый. Во всяком случае, автор ученого труда. А если вы будете так улыбаться, я посвящу всю свою жизнь не вам, а окаменелостям.

– Я не собираюсь ревновать вас к окаменелостям. – Она сделала выразительную паузу. – Тем более что вы уже давно топчете их ногами и даже не соизволили этого заметить.

Он быстро взглянул вниз и стремительно опустился на колени. Мол Кобб частично вымощен богатой окаменелостями породой.

– Боже милосердный, вы только взгляните! *Certhidium portlandicum*. Этот камень – наверняка оолит из Портленда^[8]!

– К пожизненной каторге в каменоломнях коего я вас приговорю, если вы сейчас же не встанете. – (Он с улыбкой повиновался.) – Ну разве не любезно с моей стороны привести вас сюда? Смотрите! – Она подвела его к краю, где несколько плоских камней, воткнутых в стену, образовали грубые ступени, спускавшиеся под углом к нижнему ярусу мола. – Это те самые ступени, с которых упала Луиза Масгроув^[9] в «Убеждении» Джейн Остин.

– Как романтично!

– Да, джентльмены были романтиками... в те времена.

– А теперь стали учеными? Хотите, предпримем этот опасный спуск?

– На обратном пути.

Они снова пошли вперед. И только тогда он обратил внимание на фигуру на конце Кобба или по крайней мере понял, к какому полу она принадлежит.

– Господи, я думал, что это рыбак. Но ведь это женщина?

Эрнестина прищурилась – ее серые, ее прелестные глаза были близоруки, и она смогла различить только темное бесформенное пятно.

– Женщина? Молодая?

– Так далеко не разобрать.

– Я догадываюсь, кто это. Это, должно быть, несчастная Трагедия.

– Трагедия?

– Это ее прозвище. Одно из прозвищ.

– Есть и другие?

– Рыбаки называют ее неприличным словом.

– Милая Тина, вы, разумеется, можете...

– Они называют ее... любовницей французского лейтенанта.

² Вот и все (*фр.*).

– Вот как. И ее подвергли столь жестокому ostracism, что она вынуждена стоять здесь с утра до вечера?

– Она... она немножко не в своем уме. Пойдемте обратно. Я не хочу к ней подходить.

Они остановились. Чарльз рассматривал черную фигуру.

– Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?

– Говорят, это человек, который...

– Которого она полюбила?

– Хуже.

– И он ее оставил? С ребенком?

– Нет. Ребенка, по-моему, нет. И вообще, все это сплетни.

– Что же она тут делает?

– Говорят, она ждет, что он вернется.

– Но... разве у нее нет близких?

– Она в услужении у старой миссис Поултни. Когда мы бываем там, она не выходит. Но она там живет. Пожалуйста, пойдемте обратно. Я ее не заметила.

Чарльз улыбнулся.

– Если она на вас нападет, я брошусь вам на помощь и тем докажу свою галантность. Пойдемте.

Они приблизились к женщине у пушечного ствола. Она стояла с непокрытой головой и держала в руке капор. Тугой узел ее волос был спрятан под высокий воротник черного пальто – весьма странного покроя, напоминавшего скорее мужской редингот, нежели дамскую верхнюю одежду из тех, что носили последние сорок лет. Она тоже обходилась без криолина, но, очевидно, из безразличия, а отнюдь не из желания следовать новейшей лондонской моде. Чарльз громко произнес какие-то незначущие слова, чтобы предупредить женщину об их приближении, но она не обернулась. Они прошли еще несколько шагов и вскоре увидели ее профиль и взгляд, словно ружье, нацеленный на далекий горизонт. Резкий порыв ветра заставил Чарльза поддержать Эрнестину за талию, а женщину – еще крепче ухватиться за тумбу. Сам не зная почему – быть может, желая просто показать Эрнестине, что он не робкого десятка, – Чарльз, как только ветер немного утих, шагнул вперед.

– Любезнейшая, ваше пребывание здесь весьма рискованно. Стоит ветру усилиться...

Она обернулась и посмотрела на него или – как показалось Чарльзу – сквозь него. От этой первой встречи в памяти его сохранилось не столько то, что было написано на ее лице, сколько то, чего он совсем не ожидал в нем увидеть, ибо в те времена считалось, что женщине пристала скромность, застенчивость и покорность. Чарльз тотчас почувствовал себя так, словно вторгся в чужие владения, словно Кобб принадлежал этой женщине, а вовсе не древнему городу Лайму. Лицо ее нельзя было назвать миловидным, как лицо Эрнестины. Не было оно и красивым – по эстетическим меркам и вкусам какой бы то ни было эпохи. Но это было лицо незабываемое, трагическое. Скорбь изливалась из него также естественно, незамутненно и бесконечно, как вода из лесного родника. В нем не было ни фальши, ни лицемерия, ни истеричности, ни притворства, а главное – ни малейшего признака безумия. Безумие было в пустом море, в пустом горизонте, в этой беспричинной скорби, словно родник сам по себе был чем-то вполне естественным, а неестественным было лишь то, что он изливался в пустыне.

Позже Чарльз снова и снова мысленно сравнивал этот взгляд с клинком, а такое сравнение подразумевает не только свойство самого предмета, но и производимое им действие. В это короткое мгновение он почувствовал себя поверженным врагом и одновременно предателем, по заслугам униженным.

Женщина не произнесла ни слова. Ее ответный взгляд длился не более двух-трех секунд, затем она снова обратила взор к югу. Эрнестина потянула Чарльза за рукав, и он отвернулся, с улыбкой пожав плечами. Когда они подошли к берегу, он заметил:

- Жаль, что вы раскрыли мне эти неприглядные факты. В этом беда провинциальной жизни. Все всех знают, и нет никаких тайн. Ничего романтического.
- А еще ученый! И говорит, что презирает романы, – поддразнила его Эрнестина.

3

Но еще важнее то соображение, что все главнейшие черты организации всякого живого существа определяются наследственностью: отсюда вытекает, что хотя каждое живое существо, несомненно, прекрасно приспособлено к занимаемому им месту в природе, тем не менее многие организмы не имеют в настоящее время достаточно близкого и непосредственного отношения к современным жизненным условиям.

Ч. Дарвин. Происхождение видов (1859)

Из всех десятилетий нашей истории умный человек выбрал бы для своей молодости пятидесятые годы XIX века.

Дж. М. Янг. Портрет эпохи^[10]

Возвратившись после завтрака к себе в гостиницу «Белый лев», Чарльз принялся рассматривать в зеркале свое лицо. Мысли его были слишком туманны, чтобы их можно было описать. Однако в них, несомненно, присутствовало нечто таинственное, некое смутное чувство поражения – оно относилось вовсе не к происшествию на Коббе, а скорее к каким-то банальностям, которые он произнес за завтраком у тетушки Трэнтер; к каким-то умолчаниям, к которым он прибегнул; к размышлениям о том, действительно ли интерес к палеонтологии – достойное приложение его природных способностей; о том, сможет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так же, как он понимает ее; к неопределенному ощущению бесцельности существования, которое – как он в конце концов заключил – объяснялось, возможно, всего лишь тем, что впереди его ждал долгий и теперь уже несомненно дождливый день. Ведь шел только 1867 год. Чарльзу было всего только тридцать два года от роду. И он всегда ставил перед жизнью слишком много вопросов.

Хотя Чарльзу и нравилось считать себя ученым молодым человеком и он бы, наверное, не слишком удивился, если бы из будущего до него дошла весть об аэроплане, реактивном двигателе, телевидении и радаре, его, несомненно, поразили бы изменившийся подход к самому времени. Мы считаем великим бедствием своего века недостаток времени; именно это наше убеждение, а вовсе не бескорыстная любовь к науке и, уж конечно, не мудрость заставляют нас тратить столь непомерную долю изобретательности и государственного бюджета на поиски ускоренных способов производить те или иные действия – словно конечная цель человечества не наивысшая гуманность, а молниеносная скорость. Но для Чарльза, так же как для большинства его современников, равных ему по положению в обществе, жизнь шла безусловно в темпе адажио. Задача состояла не в том, чтобы сжать до предела все намеченные дела, а в том, чтобы их растянуть и тем заполнить бесконечные анфилады досуга.

Один из распространеннейших симптомов благосостояния в наши дни – губительный невроз; в век Чарльза это была безмятежная скука. Правда, волна революций 1848 года и воспоминание о вымерших чартистах^[11] еще отбрасывали исполинскую тень на этот период, но для многих – и в том числе для Чарльза – наиболее существенным признаком этой надвигавшейся грозы было то, что она так и не грянула. Шестидесятые годы были, несомненно, эпохой процветания; достаток, которого достигли ремесленники и даже промышленные рабочие, совершенно вытеснил из умов мысль о возможности революции, по крайней мере в Великобритании. Само собою разумеется, что Чарльз понятия не имел о немецком ученом-философе, который в тот самый мартовский день работал за библиотечным столом Британского музея и трудам которого, вышедшим из этих сумрачных стен, суждено было оказать такое огромное влияние на всю последующую историю человечества. И если бы вы рассказали об этом Чарльзу,

он наверняка бы вам не поверил, а между тем всего лишь через полгода после описываемых нами событий в Гамбурге выйдет в свет первый том «Капитала»^[12].

Существовало также бесчисленное множество личных причин, по которым Чарльз никак не подходил для приятной роли пессимиста. Дед его, баронет, принадлежал ко второму из двух обширных разрядов, на которые делились английские сельские сквайры – приверженные к кларету охотники на лис и ученые собиратели всего на свете. Собирал он главным образом книги, но под конец жизни, истощая свои доходы (и еще более – терпение своего семейства), предпринял раскопки безобидных бугорков, испещривших три тысячи акров его земельной собственности в графстве Уилтшир. Кромлехи и менгиры^[13], кремневые орудия и могильники эпохи неолита – за всем этим он гонялся так же яростно, как его старший сын, едва успев вступить во владение наследством, принялся изгонять из дома отцовские портативные трофеи. Однако Всевышний покарал – или вознаградил – этого сына, позаботившись о том, чтобы он не женился. Младший сын старика, отец Чарльза, получил порядочное состояние как в виде земель, так и денег.

Жизнь его была отмечена единственной трагедией – одновременной кончиной его молодой жены и новорожденного младенца – сестры годовалого Чарльза. Но он справился со своим горем. Сына он окружил если не любовью, то по крайней мере целым штатом наставников и фельдфебелей и в общем относился к нему лишь немногим хуже, чем к самому себе. Он продал свою часть земли, дальновидно вложил капитал в железнодорожные акции и недальновидно – в карты (он искал утешения не столько у Господа Бога, сколько у господина Олмека^[14]), короче говоря, жил так, как если бы родился не в 1802-м, а в 1702 году, жил главным образом ради своих удовольствий... а в 1856 году главным образом от них и умер. Чарльз остался единственным наследником – не только поубавившегося состояния своего родителя (баккара^[15] под конец перевесила железнодорожный бум^[16]), но рано или поздно должен был унаследовать и весьма значительное состояние дяди. Правда, в 1867 году дядя, хотя и решительно отдал предпочтение кларету, не подавал ни малейших признаков смерти.

Чарльз любил своего дядю, а тот любил племянника. Впрочем, их отношения не всегда ясно об этом свидетельствовали. Хотя Чарльз шел на уступки по части охоты и соглашался в виде одолжения пострелять куропаток и фазанов, охотиться на лис он категорически отказывался. И не потому, что добыча была несъедобной, а потому, что он не переваривал охотников. Хуже того: он испытывал противоестественную склонность к пешему хождению, предпочитая его верховой езде, а ходить пешком где бы то ни было, кроме Швейцарских Альп, считалось занятием, недостойным джентльмена. Он ничего не имел против лошадей как таковых, но, будучи прирожденным натуралистом, терпеть не мог, если что-нибудь мешало ему вести наблюдения с близкого расстояния и не спеша. Удача, однако, ему сопутствовала. Однажды осенью, за много лет до описываемой нами поры, он подстрелил на меже дядюшкиного пшеничного поля какую-то странную птицу. Когда он понял, какой редкий экземпляр уничтожил, он рассердился на себя: это была одна из последних больших дроф, убитых на равнине Солсбери. Зато дядюшка пришел в восторг. Из птицы сделали чучело, и с тех пор она, словно индюшка, злобно тарасила свои бусинки-глаза из-под стеклянного колпака в гостиной Винзэтта.

Дядюшка без конца докучал гостям рассказом об этом подвиге, и всякий раз, когда его охватывало желание лишить Чарльза наследства – а одна эта тема приводила его в состояние, близкое к апоплексии, ибо имение подлежало наследованию только по мужской линии, – он глядел на бессмертную Чарльзову дрофу и вновь преисполнялся добрых родственных чувств. Надо сказать, что у Чарльза были свои недостатки. Он не всегда писал дяде раз в неделю и к тому же, посещая Винзэтт, имел дурную привычку просиживать целыми днями в библиотеке – комнате, которую его дядя едва ли когда-нибудь посещал.

Были у него, однако, недостатки и более серьезные. В Кембридже, надлежащим образом вызубрив классиков и признав «Тридцать девять статей»^[17], он (в отличие от большинства молодых людей своего времени) начал было и в самом деле чему-то учиться. Но на втором курсе он попал в дурную компанию и кончил тем, что одним туманным лондонским вечером предался плотскому греху с некоей обнаженной девицей. Из объятий этой пухленькой простолюдинки он бросился в объятия церкви и вскоре после того поверг в ужас своего родителя, объявив, что желает принять духовный сан. Против катастрофы столь необъятных размеров имелось одно только средство: юного грешника отправили в Париж. Когда он оттуда вернулся, о его слегка потускневшей девственности уже не было и речи, равно как – на что и надеялся отец Чарльза – о его предполагаемом союзе с церковью. Чарльз разглядел, что скрывалось за обольстительными призывами Оксфордского движения^[18]: римский католицизм *propria terra*³. И он отказался растрачивать свою скептическую, но уютную английскую душу – ирония пополам с условностями – на фимиам и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он пролистал и бегло просмотрел с десятков современных ему религиозных теорий, но выбрался из этой переделки (*voyant trop pour nier, et trop peu pour s'assurer*⁴) *живым и здоровым агностиком*^{5[287]}. Если ему и удалось извлечь из бытия что-либо мало-мальски похожее на Бога, то он нашел это в Природе, а не в Библии; живи он на сто лет раньше, он стал бы деистом, быть может, даже пантеистом. Время от времени, если было с кем, он посещал по воскресеньям утреннюю службу, но один ходил в церковь очень редко.

Проведя полгода во Граде Греха, он в 1856 году возвратился в Англию. Три месяца спустя умер его отец. Просторный дом в Белгравии был сдан внаем, и Чарльз поселился в Кенсингтоне^[19], в доме, более подходящем для молодого холостяка. Там его опекали лакей, кухарка и две горничные – штат почти эксцентричный по скромности для такого знатного и богатого молодого человека. Но там ему нравилось, и, кроме того, он много путешествовал. Он опубликовал в светских журналах два-три очерка о своих странствиях по далеким краям; один предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о его девятимесячном пребывании в Португалии. Но в писательском ремесле Чарльз усмотрел нечто явно *infra dig*⁶, а также нечто, требующее слишком большого труда и сосредоточенности. Какое-то время он носился с этой идеей, но потом ее бросил. Носиться с идеями вообще стало главным его занятием на третьем десятке.

Но даже барахтаясь в медлительном потоке Викторианской эпохи, Чарльз не превратился в легкомысленного бездельника. Случайное знакомство с человеком, знавшим об археологической мании его деда, помогло ему понять, что старик, без устали гонявший на раскопки команды ошалелых поселян, был смешон лишь в глазах собственной родни. В памяти других сэр Чарльз Смитсон остался одним из основоположников археологии доримской Англии; часть его изгнанной из дома коллекции с благодарностью приняли в Британский музей. И Чарльз постепенно осознал, что по склонностям он ближе к своему деду, чем к обоим его сыновьям. В последние три года он стал все больше интересоваться палеонтологией и решил, что это и есть его призвание. Он начал посещать собрания Геологического общества. Дядя с неодобрением наблюдал, как Чарльз выходит из Винзизетта, вооруженный геологическими молотками и с рюкзаком на спине; по его мнению, в деревне джентльмену подобало держать в руках только

³ На собственной земле (*лат.*).

⁴ Видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уверовать (*фр.*).

⁵ Хотя сам он и не назвал бы себя так – по той простой причине, что термин этот был введен в употребление Томасом Генри Гексли^[287] лишь в 1870 году: к этому времени в нем возникла настоятельная необходимость. (*Примеч. автора.*)

^[287] Томас Генри Гексли (1825 – 1895) – английский ученый, соратник и популяризатор Дарвина. Для выражения своих философских взглядов ввел термин «агностик».

⁶ Ниже своего достоинства (*лат.*).

ружье или хлыст; но это все-таки было лучше, чем корпеть над дурацкими книгами в дурацкой библиотеке.

Однако еще меньше нравилось дяде отсутствие у Чарльза интереса к другому предмету. Желтые ленты и желтые нарциссы, эмблемы либеральной партии, были в Винзиэтте анафемой; старик – самый что ни на есть лазурно-голубой тори – имел на этот счет свой тайный умысел. Однако Чарльз вежливо отклонял все попытки уговорить его баллотироваться в парламент. Он объявил, что у него нет никаких политических убеждений. Втайне он восхищался Гладстоном^[20], но в Винзиэтте даже имя этого архипредателя было под запретом. Таким образом, уважение к родне и общественная пассивность, весьма удачно объединившись, закрыли перед Чарльзом эту естественную для него карьеру.

Боюсь, что главной отличительной чертой Чарльза была лень. Подобно многим своим современникам, он чувствовал, что век его, утрачивая прежнее сознание своей ответственности, проникается самодовольством, что движущей силой новой Британии все больше становится желание казаться респектабельной, а не желание делать добро ради добра. Он знал, что чересчур привередлив. Но можно ли писать исторические труды сразу после Маколея^[21]? Или стихи и прозу в ответах величайшей плеяды талантов в истории английской литературы? Можно ли сказать новое слово в науке при жизни Лайеля^[22] и Дарвина? Стать государственным деятелем, когда Гладстон и Дизраэли^[23] без остатка поделили все наличное пространство?

Как видите, Чарльз метил высоко. Так всегда поступали умные бездельники, чтобы оправдать свое безделье перед своим умом. Короче, Чарльз был в полной мере заражен байроническим сплином при отсутствии обеих байронических отдушин – гения и распутства.

Но хотя смерть порою и медлит, она в конце концов всегда милосердно является, что, как известно, предвидят мамы с дочерьми на выданье. Даже если бы Чарльз не имел таких блестящих видов на будущее, он все равно представлял определенный интерес. Заграничные путешествия, к сожалению, отчасти стерли с него налет глубочайшего занудства (викторианцы называли это свойство серьезностью, высокой нравственностью, честностью и тысячью других обманчивых имен), которое только и требовалось в те времена от истинного английского джентльмена. В его манере держаться проскальзывал цинизм – верный признак врожденной безнравственности, однако стоило ему появиться в обществе, как мамы принимались пожимать его глазами, папы – хлопать его по спине, а девицы – жеманно ему улыбаться. Чарльз был весьма равнодушен к смазливым девицам и не прочь поводить за нос и их самих, и их лелеющих честолюбивые планы родителей. Таким образом он приобрел репутацию человека надменного и холодного – вполне заслуженную награду за ловкость (а к тридцати годам он поднаторел в этом деле не хуже любого хорька), с какой он обнюхивал приманку, а потом пускался наутек от скрытых зубьев подстерегавшей его матримониальной западни.

Сэр Роберт частенько давал ему за это нагоняй, но в ответ Чарльз лишь подшучивал над старым холостяком и говорил, что тот напрасно тратит порох.

- Я никогда не мог найти подходящей женщины, – ворчал старик.
- Чепуха. Вы никогда ее не искали.
- Еще как искал. В твоём возрасте.
- В моём возрасте вы интересовались только собаками и охотой на куропаток.

Сэр Роберт мрачно смотрел на свой кларет. Он, в сущности, не слишком сетовал на то, что не женат, но горько сокрушался, что у него нет детей и некому дарить ружья и пони. Он видел, как его образ жизни бесследно уходит в небытие.

- Я был слеп. Слеп!

– Милый дядя, у меня превосходное зрение. Утешьтесь. Я тоже ищу подходящую девушку. И я ее еще не нашел.

4

*Блаженны те, кто совершить успел
На этом свете много добрых дел;
И пусть их души в вечность отлетели —
Им там зачтутся их благие цели*

Каролина Нортон. Хозяйка замка Лагарэ (1863)^[24]

*Большая часть британских семейств среднего и высшего сословия
жила над своими собственными выгребными ямами...*

*Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого
века*

Кухня в полуподвале принадлежавшего миссис Поултни внушительного дома в стиле эпохи Регентства^[25], который, как недвусмысленно тонкий намек на положение его хозяйки в обществе, занимал одну из крутых командных высот над Лайм-Риджисом, сегодня, без сомнения, показалась бы никуда не годной. Хотя в 1867 году у тамошней прислуги не было двух мнений насчет того, кто их тиран, в наши дни самым страшным чудовищем наверняка была бы признана колоссальная кухонная плита, занимавшая целую стену этого обширного, плохо освещенного помещения. Три ее топки надо было дважды в день загружать и дважды очищать от золы, а так как от плиты зависел ровный ход всего домашнего механизма, ей ни на минуту не давали угаснуть. Пусть в летний зной здесь можно было задохнуться, пусть при юго-западном ветре чудовище всякий раз изрыгало из пасти черные клубы удушливого дыма – ненасытная утроба все равно требовала пищи. А стены! Они просто умоляли выкрасить их в какой-нибудь светлый, даже белый цвет! Вместо этого они были покрыты тошнотворной свинцовой зеленью, которая – что было неведомо ее обитателям (равно как, сказать по чести, и тирану на верхнем этаже) – содержала изрядную примесь мышьяка. Быть может, даже к лучшему, что в помещении было сыро, а чудовище извергало столько дыма и копоти. По крайней мере, смертоносную пыль прибывало к земле.

Старшиной в этих стигийских^[26] пределах состояла некая миссис Фэрли, тощая малорослая особа, всегда одетая в черное – не столько по причине вдовства, сколько по причине своего нрава. Возможно, ее острая меланхолия была вызвана созерцанием неиссякаемого потока ничтожных людишек, которые проносились через ее кухню. Дворецкие, конюхи, лакеи, садовники, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев – все они терпели сколько могли правила и повадки миссис Поултни, а потом обращались в бегство. Конечно, с их стороны это было чрезвычайно трусливо и недостойно. Но когда приходится вставать в шесть утра, работать с половины седьмого до одиннадцати, потом снова с половины двенадцатого до половины пятого, а потом еще с пяти до десяти и так изо дня в день – то есть сто часов в неделю, – запасы достоинства и мужества быстро иссякают.

Ставшее легендарным резюме чувств, испытываемых прислужкой, изложил самой миссис Поултни первый из пяти уволенных ею дворецких: «Сударыня, я скорее соглашусь провести остаток дней в богадельне, чем прожить еще неделю под этой крышей». Не все поверили, чтобы кто-то и вправду осмелился сказать такие слова прямо в глаза грозной хозяйке. Однако когда дворецкий спустился в кухню со своими пожитками и во всеуслышанье их повторил, его чувства разделили все.

Что касается миссис Фэрли, то ее долготерпение было одним из местных чудес. Скорее всего, оно объяснялось тем, что, если бы ей выпал иной жребий, она сама стала бы второй

миссис Поултни. Ее удерживала здесь зависть, а также мрачное злорадство по поводу всяческих неурядиц, то и дело потрясавших дом. Короче говоря, в обеих дамах дремало садистское начало, и их взаимная терпимость была им только выгодна.

Миссис Поултни была одержима двумя навязчивыми идеями, или, вернее, двумя сторонами одной и той же навязчивой идеи. Первой из них была Грязь (для кухни, правда, делалось некоторое исключение: в конце концов, там жила только прислуга); второй была Безнравственность. Ни в той, ни в другой области от ее орлиного взора не ускользала ни малейшая оплошность. Она напоминала упитанного стервятника, который от нечего делать бесконечно кружит в воздухе, и была наделена сверхъестественным шестым чувством, позволявшим ей обнаруживать пыль, следы от пальцев, плохо накрахмаленное белье, дурные запахи, пятна, разбитую посуду и прочие упущения, свойственные домашнему обиходу. Садовника выгоняли за то, что он вошел в дом, не отмыв руки от земли, дворецкого – за винные пятна на галстукe, горничную – за хлопья пыли под ее собственной кроватью.

Но самое ужасное, что даже за пределами своего дома миссис Поултни не признавала никаких границ своей власти. Отсутствие по воскресеньям в церкви – на утренней, на вечерней ли службе – считалось доказательством безнадежной распушенности. Горе той служанке, которую в один из ее редких свободных вечеров (их разрешали раз в месяц, да и то с трудом) заметили в обществе какого-нибудь молодого человека. И горе тому молодому человеку, которого любовь заставила пробраться на свидание в сад Мальборо-хауса^[27], ибо это был не сад, а целый лес «гуманных» капканов – гуманных в том смысле, что, хотя притаившиеся в ожидании жертвы мощные челюсти и не имели зубьев, они легко могли сломать человеку ногу. Этих железных слуг миссис Поултни предпочитала всем прочим. Их она никогда не увольняла.

Для этой дамы, несомненно, нашлось бы местечко в гестапо – ее метод допроса был таков, что за пять минут она умела довести до слез самых стойких служанок. Она по-своему олицетворяла наглость и самонадеянность восходящей Британской империи. Единственным справедливым мнением она всегда считала свое, а единственным разумным способом управления – яростную бомбардировку строптивых подданных.

Однако в своем собственном, весьма ограниченном, кругу она славилась благотворительностью. И если бы вам пришло в голову в этой ее репутации усомниться, вам тотчас представили бы неопровержимое доказательство – разве милая, добрая миссис Поултни не приютила любовницу французского лейтенанта? Нужно ли добавлять, что в ту пору милой, доброй миссис Поултни из двух прозвищ «любовницы» было известно только второе – греческое.

Это удивительное событие произошло весной 1866 года, ровно за год до того времени, о котором я пишу, и было связано с великой тайной в жизни миссис Поултни. Тайна эта была весьма проста. Миссис Поултни верила в ад.

Тогдашний священник лаймского прихода, человек в области теологии сравнительно вольномыслящий, принадлежал, однако, к числу тех пастырей, которые охулки на свою руку не положат. Он вполне удовлетворял Лайм, по традиции сохранявший верность Низкой церкви^[28]. Проповеди его отличались известным красноречием, и он не допускал к себе в церковь распятий, икон, украшений и других симптомов злокачественной римской язвы. Когда миссис Поултни излагала ему свои теории загробной жизни, он не вступал с нею в спор, ибо священники, которым вверены не слишком прибыльные приходы, не спорят с богатыми прихожанами. Для него кошелек миссис Поултни был всегда открыт, хотя когда приходило время платить жалованье ее тринадцати слугам, он открывался весьма неохотно. Предыдущей зимой (это была зима четвертого по счету нашествия холеры на викторианскую Англию) миссис Поултни слегка занемогла, и священник навещал ее не реже врачей, которым приходилось без конца уверять ее, что болезнь ее вызвана обычным расстройством желудка, а отнюдь не грозным убийцей с Востока.

Миссис Поултни была далеко не глупа – более того, она обладала завидной практической сметкой, а ее будущее местопребывание, как и всё, что было связано с ее удобствами, составляло предмет весьма практического свойства. Когда она рисовала в своем воображении образ Господа Бога, то лицом он сильно смахивал на герцога Веллингтонского^[29], характером же скорее напоминал ловкого стряпчего – представителя племени, к которому миссис Поултни питала глубокое почтение. Лежа в постели, она все чаще мучительно обдумывала жуткую математическую задачу: как Господь подсчитывает благотворительность – по тому, сколько человек пожертвовал, или по тому, сколько он мог бы пожертвовать? По этой части она располагала сведениями более точными, нежели сам священник. Она пожертвовала церкви немалые суммы, но знала, что они весьма далеки от предписанной законом Божиим десятины^[30], с которой надлежит расстаться серьезным претендентам на райское блаженство. Разумеется, она составила свое завещание в таком духе, чтобы после ее смерти сальдо было должным образом сведено, но ведь может случиться, что при оглашении этого документа Господь будет отсутствовать. Но что еще хуже, во время ее болезни миссис Фэрли, которая по вечерам читала ей Библию, выбрала притчу о лепте вдовицы^[31]. Эта притча всегда казалась миссис Поултни чудовищно несправедливой, а на сей раз угнездилась в ее сердце на срок еще более долгий, чем бациллы энтерита в ее кишечнике. Однажды, когда дело шло уже на поправку, она воспользовалась визитом заботливого пастыря, чтобы осторожно прозондировать свою совесть. Сначала священник попытался отместить ее духовные сомнения.

– Уважаемая миссис Поултни, вы твердо стоите на скале добродетели. Создатель все видит и все знает. Нам не пристало сомневаться в Его милосердии и справедливости.

– А вдруг Он спросит, чиста ли моя совесть?

Священник улыбнулся.

– Вы ответите, что она вас несколько тревожит. И Он, в бесконечном сострадании своем, разумеется...

– А вдруг нет?

– Дорогая миссис Поултни, если вы будете говорить так, мне придется вас пожуричь. Не нам судить о Его премудрости.

Наступило молчание. При священнике миссис Поултни чувствовала себя как бы в обществе сразу двоих людей. Один, ниже ее по социальному положению, был многим ей обязан: благодаря ее щедротам он имел возможность сладко есть, не стесняться в текущих расходах на нужды своей церкви, а также успешно выполнять не связанные с церковной службой обязанности по отношению к бедным; второй же был представителем Господа Бога, и перед ним ей надлежало метафорически преклонять колени. Поэтому ее обращение с ним часто бывало непослдовательным и странным: она смотрела на него то *de haut en bas*⁷, то *de bas en haut*⁸, а порою ухитрялась выразить обе эти позиции в одной фразе.

– Ах, если бы бедный Фредерик был жив. Он дал бы мне совет.

– Несомненно. И поверьте, его совет был бы точно таким же, как мой. Я знаю, что он был добрым христианином. А мои слова выражают истинно христианскую доктрину.

– Его смерть была предупреждением. Наказанием свыше.

Священник бросил на нее строгий взгляд.

– Остерегитесь, сударыня, остерегитесь. Нельзя легкомысленно посягать на прерогативы Творца нашего.

Миссис Поултни сочла за лучшее не спорить. Все приходские священники в мире не могли оправдать в ее глазах безвременную кончину ее супруга. Она оставалась тайной между нею и Господом – тайной наподобие черного опала – и то вспыхивала грозным предзнаменова-

⁷ Сверху вниз (фр.).

⁸ Снизу вверх (фр.).

нием, то принимала форму аванса, внесенного в счет окончательной расплаты, которая, быть может, ей еще предстояла.

– Я приносила пожертвования. Но я не совершала добрых дел.

– Пожертвование – наилучшее из добрых дел.

– Я не такая, как леди Коттон.

Столь резкий переход от небесного к земному не удивил священника. Судя по предыдущим высказываниям миссис Поултни, она знала, что в скачке на приз благочестия на много корпусов отстает от вышеозначенной дамы. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своей фанатической благотворительностью. Она посещала бедных, она была председательницей миссионерского общества, она основала приют для падших женщин, правда, с таким строгим уставом, что питомицы ее Магдалинского приюта^[32] при первом удобном случае вновь бросались в бездну порока – о чем, однако, миссис Поултни была осведомлена не более, чем о другом, более вульгарном прозвище Трагедии.

Священник откашлялся:

– Леди Коттон – пример для всех нас.

Это еще больше подлило масла в огонь, что, возможно, входило в его намерения.

– Мне следовало бы посещать бедных.

– Это было бы превосходно.

– Но эти посещения меня всегда так ужасно расстраивают. – (Священник невежливо промолчал.) – Я знаю, что это грешно.

– Полноте, полноте.

– Да, да. Очень грешно.

Последовала долгая пауза, в продолжение которой священник предавался мыслям о своем обеде (до коего оставался еще целый час), а миссис Поултни – о своих грехах. Затем она с необычайной для нее робостью предложила компромиссное решение своей задачи.

– Если бы вы знали какую-нибудь даму, какую-нибудь благовоспитанную особу, попавшую в бедственное положение...

– Простите, я вас не совсем понимаю.

– Я хочу взять себе компаньонку. Мне стало трудно писать. А миссис Фэрли так скверно читает... Я бы охотно предоставила кров такой особе.

– Прекрасно. Если вы этого желаете, я наведу справки.

Миссис Поултни несколько утратила предосторожность перед предстоящим безумным прыжком в лоно истинного христианства.

– Она должна быть безупречна в нравственном отношении. Я обязана заботиться о своей прислуге.

– Разумеется, сударыня, разумеется.

Священник поднялся.

– И желательно, чтоб у нее не было родни. Родня подчиненных может сделаться такой тяжелой обузой...

– Не беспокойтесь, я не стану рекомендовать вам сколько-нибудь сомнительную особу.

Священник пожал ей руку и направился к двери.

– И, мистер Форсайт, она не должна быть слишком молода.

Он поклонился и вышел из комнаты. Но на полпути вниз он остановился. Он вспомнил. Он задумался. И быть может, чувство, заставившее его вернуться в гостиную, было не совсем чуждо злорадству, вызванному столь долгими часами лицемерия – или, скажем, не всегда полной искренности, – которые он провел возле облаченной в бумазейное платье миссис Поултни. Он вернулся в гостиную и остановился в дверях.

– Мне пришла в голову одна вполне подходящая особа. Ее зовут Сара Вудраф.

5

*Коль Смерть равнялась бы концу
И с нею все тонуло в Лете,
Любви бы не было на свете;
Тогда, наперекор Творцу,
Любой из смертных мог бы смело —
Сатирам древности под стать —
Души бессмертье променять
На нужды низменного тела.*

А.Теннисон. In Memoriam (1850)^[33]

*Молодежи не терпелось побывать в Лайме.
Джейн Остин. Убеждение*

Лицо Эрнестины было совершенно во вкусе ее эпохи – овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы можете увидеть его на рисунках знаменитых иллюстраторов той поры – Физа и Джона Лича^[34]. Серые глаза и белизна кожи лишь оттеняли нежность всего ее облика. При первом знакомстве она умела очень мило опускать глазки, словно предупреждая, что может лишиться чувств, если какой-нибудь джентльмен осмелится с нею заговорить. Однако нечто, таившееся в уголках ее глаз, а равным образом и в уголках ее губ, нечто – если продолжить приведенное выше сравнение – неуловимое, как аромат февральских фиалок, едва заметно, но совершенно недвусмысленно сводило на нет ее кажущееся беспрекословное подчинение великому божеству – Мужчине. Ортодоксальный викторианец, быть может, отнесся бы с опаской к этому тончайшему намеку на Бекки Шарп^[35], но Чарльза она покорила. Она была почти такая же, как десятки других благовоспитанных куколок – как все эти Джорджины, Виктории, Альбертины, Матильды и иже с ними, которые под неусыпным надзором сидели на всех балах, – почти, но не совсем.

Когда Чарльз отправился в гостиницу, которую от дома миссис Трэнтер на Брод-стрит отделяло не более сотни шагов, с глубокомысленным видом (как всякий счастливый жених, он боялся выглядеть смешным) поднялся по лестнице к себе в номер и начал задавать вопросы своему красивому отражению в зеркале, Эрнестина извинилась и поднялась наверх. Ей хотелось бросить последний взгляд на своего нареченного сквозь кружевные занавески, а также побыть в той единственной комнате теткиного дома, которая не внушала ей отвращения.

Вволю налюбовавшись его походкой и в особенности жестом, которым он приподнял свой цилиндр перед горничной миссис Трэнтер, посланной с каким-то поручением, и рассердившись на него за это, потому что у девушки были озорные глазки дорсетской поселанки и соблазнительный румянец во всю щеку, а Чарльзу строжайше запрещалось смотреть на женщин моложе шестидесяти лет (условие, по счастью, не распространявшееся на тетушку Трэнтер, которой как раз исполнилось шестьдесят), Эрнестина отошла от окна. Комната была обставлена специально для нее и по ее вкусу, подчеркнуто французскому; в те времена он был столь же тяжеловесен, сколь и английский, но отличался чуть большим количеством позолоты и других затей. Все остальные комнаты в доме непререкаемо, солидно и неколебимо отвечали вкусу предыдущей четверти века, иными словами, представляли собой настоящий музей предметов, созданных в первом благородном порыве отрицания всего легкого, изящного и упадочного, что напоминало о нравах пресловутого Принни^[36], Георга IV.

Не любить тетушку Трэнтер было невозможно; никому не пришла бы в голову даже мысль о том, чтобы рассердиться на это простодушно улыбающееся и словоохотливое – главным образом словоохотливое – создание. Она отличалась глубочайшим оптимизмом довольных своей судьбою старых дев: одиночество либо ожесточает, либо учит независимости. Тетушка Трэнтер начала с того, что пеклась о себе, а кончила тем, что пеклась обо всех на свете.

Эрнестина, однако, только и делала, что на нее сердилась – за невозможность обедать в пять часов^[37], за унылую мебель, загромождавшую все комнаты, кроме ее собственной, за чрезмерную заботу о ее добром имени (тетя никак не могла взять в толк, что жениху и невесте хочется побыть или погулять вдвоем), а всего более за то, что она, Эрнестина, вообще торчит здесь, в Лайме.

Бедняжке выпали на долю извечные муки всех единственных детей – постоянно находиться под колпаком неусыпной родительской заботы. С тех пор как она появилась на свет, при малейшем ее кашле съезжались врачи; когда она подросла, по малейшей ее прихоти в дом созывались портнихи и декораторы; и всегда малейшая ее недовольная гримаса заставляла папу с мамой часами втихомолку терзаться угрызениями совести. Пока дело касалось новых нарядов и новой обивки стен, все шло как по маслу, но существовал один пункт, по которому все ее *bouderies*⁹ и жалобы не производили никакого впечатления. Это было ее здоровье. Родители вбили себе в голову, что она предрасположена к чахотке. Стоило им ощутить в подвале запах сырости, как они переезжали в другой дом; если во время поездки за город два дня подряд шел дождь, они переезжали в другую местность. Половина Харли-стрит^[38] обследовала Эрнестину и не нашла у нее ровно ничего; она ни разу в жизни ничем серьезным не болела; у нее не было ни вялости, ни хронических приступов слабости, характерных для этого недуга. Она могла – то есть могла бы, если бы ей хоть раз разрешили, – протанцевать всю ночь напролет, а наутро как ни в чем не бывало отправиться играть в волан. Но она была так же не способна поколебать навязчивую идею своих любящих родителей, как грудной ребенок – сдвинуть с места гору. О, если б они могли заглянуть в будущее! Эрнестине суждено было пережить все свое поколение. Она родилась в 1846 году. А умерла она в тот день, когда Гитлер вторгся в Польшу^[39].

Обязательной частью совершенно не нужного ей режима было ежегодное пребывание в Лайме у тетки, сестры ее матери. Обычно она приезжала сюда отдохнуть после лондонского сезона^[40]; нынче ее отправили пораньше – набраться сил для свадьбы. Бризы Ла-Манша, несомненно, шли ей на пользу, но всякий раз, когда карета начинала спускаться под гору к Лайму, на лице ее изображалось уныние арестанта, сосланного в Сибирь. Общество в этом городишке было так же современно, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева; что же до развлечений, то для молодой девицы, которой было доступно все самое лучшее, что только мог предложить Лондон, они были хуже чем ничего. Поэтому ее отношения с тетушкой Трэнтер напоминали скорее отношения резвой девочки, этакой английской Джульетты, с ее прозаической кормилицей, нежели отношения племянницы с теткой. И в самом деле, если бы прошлой зимой на сцене не появился спаситель – Ромео и не пообещал разделить с нею одиночное заключение, она бы взбунтовалась – по крайней мере, она была почти уверена, что взбунтовалась бы. Эрнестина, несомненно, обладала волей гораздо более сильной, чем мог допустить кто-либо из окружающих, и более сильной, чем допускала ее эпоха. Но, к счастью, она питала должное уважение к условностям и, подобно Чарльзу – что вначале главным образом и привлекло их друг к другу, – умела иронически относиться к собственной персоне. Будь она лишена этой способности, а также чувства юмора, она была бы скверной, избалованной девчонкой; и ее, несомненно, спасало то, что именно так («Ах ты скверная, избалованная девчонка!») она частенько обращалась к самой себе.

⁹ Капризы (фр.).

Эрнестина расстегнула платье и подошла к зеркалу в сорочке и нижних юбках. Несколько секунд она влюбленным взглядом рассматривала свое отражение. Шея и плечи были у нее под стать лицу; она и впрямь была очень хорошенькая, пожалуй, самая хорошенькая среди всех своих знакомых девушек. И, как бы желая это доказать, она подняла руки и распустила волосы – поступок, по ее понятиям, в чем-то греховный, но необходимый, как горячая ванна или теплая постель в зимнюю ночь. И на какое-то поистине греховное мгновение она вообразила себя падшей женщиной – балериной или актрисой. А потом, если бы вам случилось за нею подсматривать, вы увидели бы нечто весьма занятное. Она вдруг перестала вертеться и любоваться своим профилем и быстро подняла глаза к потолку. Ее губы зашевелились. Она поспешно открыла один из шкафов и накинула пеньюар.

Ибо мысль, мелькнувшая у нее, когда она совершала все эти пируэты и краем глаза увидела в зеркале уголок своей кровати, была явно сексуальной – ей почудилось сплетенье обнаженных тел, как в статуе Лаокоона^[41]. Пугало ее не только то, что она ровно ничего не знала о реальных подробностях совокупления, – тень жестокости и боли, которая, в ее представлении, омрачала этот акт, казалась ей несовместимой с мягкостью жестов и скромностью дозволенных ласк, которые так привлекали ее в Чарльзе. Раз или два ей случалось видеть, как совокупляются животные, и с тех пор ее преследовало воспоминание об этом грубом насилии.

Поэтому она придумала для себя нечто вроде заповеди – «Не смей!» – и тихонько повторяла эти слова всякий раз, как в ее сознание пытались вторгнуться мысли о физической стороне ее женского естества. Но заклинай не заклинай, а от природы не уйдешь. Эрнестине хотелось иметь мужа, ей хотелось, чтобы этим мужем был Чарльз, хотелось иметь детей; только цена, которую, как она смутно догадывалась, придется за них заплатить, казалась ей непомерной.

Она не понимала, зачем Господь Бог допустил, чтобы Долг, принимая столь звероподобное обличье, испортил столь невинное влечение. Это же чувство разделяла большая часть современных ей женщин и большая часть мужчин; и неудивительно, что понятие долга стало ключом к нашему пониманию Викторианской эпохи и, уж если на то пошло, внушает такое отвращение нам самим^{10[288]}.

Загнав в угол природу, Эрнестина подошла к туалетному столику, отперла ящик и достала оттуда свой дневник в черном сафьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящика она вытащила спрятанный там ключ, отперла замочек и раскрыла альбом на последней странице. В день помолвки с Чарльзом она вписала сюда по месяцам все числа, которые отделяли этот день от свадьбы. Два месяца были уже аккуратно вычеркнуты, оставалось приблизительно девяносто дней. Эрнестина вынула из альбома карандашик с наконечником из слоновой кости и вычеркнула двадцать шестое марта. До конца дня было еще девять часов, но она часто позволяла себе эту невинную хитрость. Затем она перевернула десятка полтора уже исписанных уборым почерком страниц (альбом ей подарили на Рождество) и открыла чистый листок, на котором лежала засушенная веточка жасмина. Эрнестина взглянула на цве-

¹⁰ Здесь уместно вспомнить строфы из поэмы «In Memoriam», которые я цитирую в качестве эпиграфа к этой главе. Приведенное стихотворение (XXXV) содержит, несомненно, самый странный из всех странных аргументов этой знаменитой антологии тревожных раздумий по поводу загробной жизни. Утверждать, что если бессмертия души не существует, то любовь – всего лишь похоть, свойственная сатирам, значит обращаться в паническое бегство от Фрейда^[288]. Царствие Небесное было Царствием Небесным для викторианцев в значительной степени потому, что «низменное тело», а заодно и фрейдово *Id* они оставляли на земле. (Примеч. автора).

^[288] Фрейд Зигмунд (1856 – 1939) – австрийский врач и психолог, основоположник психоанализа – метода лечения неврозов, основанного на технике свободных ассоциаций и анализе ошибочных действий и сновидений как способе проникновения в бессознательное. По Фрейду, поведение человека определяется сексуальными влечениями (либидо). Все остальные стремления и деятельность человека, в том числе и художественное творчество, только следствие неудовлетворенного и «сублимированного» (переключенного на другие области) сексуального влечения. Те влечения, которые не сублимируются в какой-либо деятельности, вытесняются в область бессознательного. Согласно Фрейду, сознательное «я» (Ego) представляет собой поле борьбы сил, исходящих из биологической сферы влечений (Id – оно) и установок общества, внутриспсихическим представителем которых является «Сверх-я» (SuperEgo).

ток, потом наклонилась и понюхала. Ее распущенные волосы рассыпались по странице, и она закрыла глаза, чтобы проверить, удастся ли ей воскресить в воображении тот восхитительный день, когда она думала, что умрет от радости, когда она плакала, плакала без конца, тот незабываемый день, когда...

Но тут на лестнице послышались шаги тетушки Трэнтер, и Эрнестина, поспешно спрятав дневник, принялась расчесывать свои мягкие каштановые волосы.

6

Мод, моя белоснежная лань, ты ничьей не станешь женой...
А. Теннисон. Мод (1855)

Когда священник вернулся в гостиную со своим предложением, на лице миссис Поултни изобразилось полнейшее неведение. А когда имеешь дело с подобными дамами, то вызывать без успеха к их осведомленности по большей части означает с успехом вызвать их неудовольствие. Лицо миссис Поултни как нельзя лучше подходило для того, чтобы выражать это последнее чувство: глаза ее отнюдь не являли собою «прибежище молитвы бессловесной»^[42], как сказано у Теннисона, а отвислые щеки, переходившие в почти двойной подбородок, и поджатые губы ясно свидетельствовали о презрении ко всему, что угрожало двум ее жизненным принципам, из коих первый гласил (я прибегну к саркастической формулировке Трайчке): «Цивилизация – это мыло»^[43], а второй: «Респектабельность есть то, чего я требую от всех». Она слегка напоминала белого китайского мопса, вернее, чучело мопса, ибо в качестве профилактического средства против холеры носила у себя на груди мешочек с камфарой, так что за ней повсюду тянулся легкий запах шариков от моли.

– Я не знаю, кто это такая.

Священника обидел ее высокомерный тон, и он задался вопросом, что было бы, если б доброму самарянину^[44] вместо несчастного путника повстречалась миссис Поултни.

– Я не предполагал, что вы ее знаете. Эта девушка родом из Чармута.

– Она девица?

– Ну, скажем, молодая женщина, дама лет тридцати или больше. Я не хотел бы строить догадки. – Священник понял, что не слишком удачно начал речь в защиту отсутствующей обвиняемой. – Но она в весьма бедственном положении. И весьма достойна вашего участия.

– Она получила какое-нибудь образование?

– О да, разумеется. Она готовилась в гувернантки. И служила гувернанткой.

– А что она делает сейчас?

– Кажется, сейчас она без места.

– Почему?

– Это длинная история.

– Я бы желала ее услышать, прежде чем говорить о дальнейшем.

Священник снова уселся и рассказал ей то – или часть того (ибо в своей смелой попытке спасти душу миссис Поултни он решился рискнуть спасением своей собственной), – что ему было известно о Саре Вудраф.

– Отец этой девушки был арендатором в имении лорда Меритона близ Биминстера. Простой фермер, но человек наилучших правил, весьма уважаемый в округе. Он позаботился о том, чтобы дать своей дочери порядочное образование.

– Он умер?

– Несколько лет назад. Девушка поступила гувернанткой в семью капитана Джона Тальбота в Чармуте.

– Он даст ей рекомендацию?

– Дорогая миссис Поултни, если я правильно понял наш предыдущий разговор, речь идет не о найме на службу, а об акте благотворительности. – Миссис Поултни кивнула, как бы извиняясь, что редко кому доводилось видеть. – Без сомнения, за рекомендацией дело не станет. Она покинула его дом по собственной воле. История такова. Вы, вероятно, помните, что во время страшного шторма в декабре прошлого года близ Стоунбэрроу выбросило на берег французский барк – кажется, он шел из Сен-Мало. И вы, конечно, помните, что жители

Чармута спасли и приютили трех членов его экипажа. Двое были простые матросы. Третий, сколько мне известно, служил на этом судне лейтенантом. При крушении он сломал ногу, но уцепился за мачту, и его прибило к берегу. Вы, наверное, читали об этом в газетах.

– Да, может быть. Я не люблю французов.

– Капитан Тальбот, сам морской офицер, весьма великодушно вверил этого... иностранца попечению своих домашних. Он не говорил по-английски, и мисс Вудраф поручили ухаживать за ним и служить переводчицей.

– Она говорит по-французски?

Волнение, охватившее миссис Поултни при этом ужасающем открытии, было так велико, что грозило поглотить священника. Но он нашел в себе силы поклониться и учтиво улыбнуться.

– Сударыня, почти все гувернантки говорят по-французски. Нельзя ставить им в вину то, чего требуют их обязанности. Но вернемся к французскому джентльмену. Увы, я должен сообщить вам, что он оказался недостойным этого звания.

– Мистер Форсайт!

Она нахмурилась, однако не слишком грозно, опасаясь, как бы у несчастного язык не примерз к нёбу.

– Спешу добавить, что в доме у капитана Тальбота ничего предосудительного не произошло. Более того, мисс Вудраф никогда и нигде ни в чем предосудительном замешана не была. Тут я всецело полагаюсь на мистера Фэрси-Гарриса. Он знаком со всеми обстоятельствами гораздо лучше меня. – Упомянутый авторитет был священником чармутского прихода. – Но французу удалось покорить сердце мисс Вудраф. Когда нога у него зажала, он отправился с почтовой каретой в Уэймут, чтобы оттуда отплыть во Францию – так, по крайней мере, все полагали. Через два дня после его отъезда мисс Вудраф обратилась к миссис Тальбот с настоятельной просьбой разрешить ей оставить должность. Мне говорили, что миссис Тальбот пыталась дознаться почему. Однако безуспешно.

– И она позволила ей уйти сразу, без предупреждения?

Священник ловко воспользовался случаем.

– Совершенно с вами согласен. Она поступила весьма неразумно. Ей следовало быть осмотрительнее. Если бы мисс Вудраф служила у более мудрой хозяйки, эти печальные события, без сомнения, вообще бы не произошли. – Он сделал паузу, чтобы миссис Поултни могла оценить этот завуалированный комплимент. – Я буду краток. Мисс Вудраф отправилась вслед за французом в Уэймут. Ее поступок заслуживает всяческого порицания, хотя, как мне говорили, она останавливалась там у своей дальней родственницы.

– В моих глазах это ее не оправдывает.

– Разумеется, нет. Но вы не должны забывать о ее происхождении. Низшие сословия не столь щепетильны в вопросах приличий, как мы. Кроме того, я не сказал вам, что француз сделал ей предложение. Мисс Вудраф отправилась в Уэймут, полагая, что выйдет замуж.

– Но разве он не католик?

Миссис Поултни казалась самой себе безгрешным Патмосом^[45] в бушующем океане папизма.

– Боюсь, что его поведение свидетельствует об отсутствии какой бы то ни было христианской веры. Но он, без сомнения, убедил ее, что принадлежит к числу наших несчастных единоверцев в этой заблуждающейся стране. Спустя несколько дней он отплыл во Францию, пообещав мисс Вудраф, что, повидавшись со своим семейством и получив другой корабль – при этом он еще солгал, будто по возвращении его должны произвести в капитаны, – он вернется прямо в Лайм, женится на ней и увезет ее с собой. С тех пор она ждет. Теперь уже очевидно, что человек этот оказался бессердечным обманщиком. В Уэймуте он наверняка надеялся воспользоваться

неопытностью несчастной в гнусных целях. Но столкнувшись с ее твердыми христианскими правилами и убедившись в тщетности своих намерений, он сел на корабль и был таков.

– Что же случилось с нею дальше? Миссис Тальбот, конечно, не взяла ее обратно?

– Сударыня, миссис Тальбот дама несколько эксцентричная. Она предложила ей вернуться. Но теперь я подхожу к печальным последствиям случившегося. Мисс Вудраф не утратила рассудок. Вовсе нет. Она вполне способна выполнять любые возложенные на нее обязанности. Однако она страдает тяжелыми приступами меланхолии. Не приходится сомневаться, что они отчасти вызваны угрызениями совести. Но боюсь, что также и ее глубоко укоренившимся заблуждением, будто лейтенант – человек благородный и что в один прекрасный день он к ней вернется. Поэтому ее часто можно видеть на берегу моря в окрестностях города. Мистер Фэрси-Гаррис, со своей стороны, всячески пытался разъяснить ей безнадежность, чтобы не сказать – неприличие ее поведения. Если называть вещи своими именами, сударыня, она слегка помешалась.

Наступило молчание. Священник положился на волю языческого божества – Случая. Он догадывался, что миссис Поултни производит в уме подсчеты. Согласно своим принципам она должна была вознегодовать при одной лишь мысли о том, чтобы позволить подобной особе переступить порог Мальборо-хауса. Но ведь Господь потребует у нее отчета.

– У нее есть родня?

– Сколько мне известно, нет.

– На какие же средства она живет?

– На самые жалкие. Сколько мне известно, она подрабатывает шитьем. Мне кажется, миссис Трэнтер давала ей такую работу. Но главным образом она живет на те сбережения, которые сделала раньше.

– Значит, она позаботилась о будущем.

Священник облегченно вздохнул.

– Если вы возьмете ее к себе, сударыня, то за ее будущее я спокоен. – Тут он пустил в ход свой последний козырь. – И быть может – хоть и не мне быть судьей вашей совести, – спасая эту женщину, вы спасетесь сами.

Ослепительное божественное видение внезапно посетило миссис Поултни – она представила себе леди Коттон, которой утерли ее праведный нос. Она нахмурилась, глядя на пушистый ковер у себя под ногами.

– Пусть мистер Фэрси-Гаррис приедет ко мне.

Неделю спустя мистер Фэрси-Гаррис в сопровождении священника лаймского прихода явился с визитом, отведал мадеры, кое-что рассказал, а кое о чем – следуя совету своего преподобного коллеги – умолчал. Миссис Тальбот прислала пространное рекомендательное письмо, которое принесло больше вреда, чем пользы, ибо она самым постыдным образом не заклемила как следует поступок гувернантки. В особенности возмутила миссис Поултни фраза: «Мсье Варгенн был человек весьма обаятельный, а капитан Тальбот просит меня присовокупить, что жизнь моряка – не лучшая школа нравственности». На нее не произвело ни малейшего впечатления, что мисс Сара «знающая и добросовестная учительница» и что «мои малютки очень по ней скучают». Однако очевидное отсутствие у миссис Тальбот должной требовательности и ее глупая сентиментальность в конечном счете сослужили службу Саре – они открыли перед миссис Поултни широкое поле деятельности.

Итак, Сара в сопровождении священника явилась для собеседования. Втайне она сразу понравилась миссис Поултни – она казалась такой угнетенной, была так раздавлена случившимся. Правда, выглядела она подозрительно молодо – на вид, да и на самом деле, ей было скорее лет двадцать пять, чем «тридцать или больше». Но скорбь, написанная на ее лице, ясно показывала, что она грешница, а миссис Поултни не желала иметь дело ни с кем, чей вид не свидетельствовал о принадлежности к этой категории. Кроме того, она вела себя очень сдержанно,

что миссис Поултни предпочла истолковать как немую благодарность. А главное, воспоминание о многочисленных уволенных ею слугах внушило старухе отвращение к людям развязным и дерзким, то есть к таким, которые отвечают, не дожидаясь вопросов, и предупреждают желания хозяйки, лишая ее удовольствия выбрать их за то, что эти желания не предупреждаются.

Затем, по предложению священника, она продиктовала Саре письмо. Почерк оказался превосходным, орфография безупречной. Тогда миссис Поултни устроила еще более хитроумное испытание. Она протянула Саре Библию и велела ей почитать. Она долго размышляла над выбором отрывка, мучительно разрываясь между псалмом 118 («Блаженны непорочные») и псалмом 139 («Избави меня, Господи, от человека злого»). В конце концов она остановилась на первом и теперь не столько прислушивалась к голосу чтицы, сколько старалась найти хоть какой-нибудь роковой намек на то, что Сара не слишком близко принимает к сердцу слова псалмопевца.

Голос у Сары был внятный и довольно низкий. В нем сохранились следы местного произношения, но в те времена аристократический выговор не приобрел еще такого важного социального значения, как впоследствии. Многие члены Палаты лордов и даже герцоги говорили с акцентом, свойственным их родным краям, и никто не ставил им это в упрек. Быть может, вначале голос Сары понравился миссис Поултни по контрасту с невыразительным чтением и запинками миссис Фэрли. Но под конец он просто ее очаровал, равно как и чувство, с каким Сара произнесла: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»

Оставался короткий допрос.

– Мистер Форсайт сказал мне, что вы сохраняете привязанность к этому... иностранцу.

– Я не хочу говорить об этом, сударыня.

Если бы подобные слова осмелилась произнести какая-нибудь служанка, на нее немедленно обрушился бы *Dies Irae*^{11 {289}}. Однако они были сказаны открыто, без страха, но в то же время почтительно, и на сей раз миссис Поултни решила пропустить их мимо ушей.

– Я не потерплю у себя в доме французских книг.

– У меня их нет. И английских тоже, сударыня.

Добавлю, что книг у Сары не было потому, что она их все продала, а вовсе не потому, что она была ранней предшественницей небезызвестного Маклюэна^[46].

– Но Библия у вас, разумеется, есть?

Девушка покачала головой.

– Дорогая миссис Поултни, – вмешался священник, – предоставьте это мне.

– Мне сказали, что вы исправно посещаете церковь.

– Да, сударыня.

– Продолжайте в том же духе. Господь не оставляет нас в беде.

– Я стараюсь разделить вашу веру, сударыня.

Наконец миссис Поултни задала самый трудный вопрос – тот, от которого священник заранее просил ее воздержаться.

– Что, если этот... этот человек вернется?

Но Сара опять поступила наилучшим образом: она ничего не сказала, а только опустила глаза и покачала головой. Все более укрепляясь в своем благодушии, миссис Поултни сочла это признаком безмолвного раскаяния.

Так она вступила на стезю благотворительности. Ей, разумеется, не пришло в голову спросить, почему Сара, отказавшись поступить на службу к людям менее строгих христианских правил, чем миссис Поултни, пожелала войти в ее дом. На то были две весьма простые

¹¹ День гнева (лат.).^{289}

^{289} «День гнева» – начало латинского гимна о Страшном суде.

причины. Во-первых, из окон Мальборо-хауса открывался великолепный вид на залив Лайм. Вторая причина была еще проще. У Сары оставалось ровным счетом семь пенсов.

7

Наконец, чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности, сопровождаемая интенсивным и экстенсивным ростом эксплуатации рабочей силы во всех остальных отраслях производства, дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.

К. Маркс. Капитал (1867)^[47]

Утро, когда Сэм открыл шторы, нахлынуло на Чарльза так, как на миссис Поултни (она в это время еще похрапывала) должно было, по ее представлениям, нахлынуть райское блаженство после надлежащей торжественной паузы, которая последует за ее кончиной. Раз десять в году на известном своим мягким климатом дорсетском побережье выпадают такие дни – не просто приятные, не по сезону мягкие дни, а восхитительные отблески средиземноморского тепла и света. В такую пору природа как бы теряет рассудок. Пауки, которым полагается пребывать в зимней спячке, бегают по раскаленным ноябрьским солнцем камням, в декабре поют черные дрозды, в январе распускаются первоцветы, а март передразнивает июнь.

Чарльз сел на постели, сорвал с головы ночной колпак, велел Сэму распахнуть окна и, опершись на руки, залюбовался льющимся в комнату солнечным светом. Легкое уныние, угнетавшее его накануне, рассеялось вместе с облаками. Он чувствовал, как теплый весенний воздух ласкает ему грудь сквозь полураскрытый ворот ночной рубашки. Сэм правил бритву, и из принесенного им медного кувшина поднимался легкий парок, неся с собой Прустово богатство ассоциаций^[48] – длинную вереницу таких же счастливых дней, уверенность в своем положении, в порядке, в спокойствии. В цивилизации. Под окном застучали подковы по булыжной мостовой – к морю, не спеша, проехал всадник. Расхрабренный ветерок колыхал потрепанные шторы из красного плюша, но на солнце даже они казались красивыми. Все было великолепно. И таким, как это мгновение, мир пребудет вечно.

Послышался топот маленьких копыт и жалобное блеянье. Чарльз встал и выглянул в окно. Напротив чинно беседовали два старика в украшенных гофрировкой «смоках». Один из них, пастух, опирался на палку с крюком. Дюжина овец и целый выводок ягнят беспокойно топтались посреди дороги. К 1867 году еще не перевелись живописные народные костюмы – остатки далекой английской старины, и в каждой деревушке нашлось бы с десяток стариков, одетых в эти длинные свободные блузы. Чарльз пожалел, что не умеет рисовать. Провинция, право же, очаровательна. Он повернулся к своему лакею.

– Честное слово, Сэм, в такой день хочется никогда не возвращаться в Лондон.

– Вот постоит еще на сквозняке, так, пожалуй, и не вернетесь, сэр.

Хозяин сердито на него взглянул. Они с Сэмом были вместе уже четыре года и знали друг друга гораздо лучше, чем иная – связанная предположительно более тесными узами – супружеская чета.

– Сэм, ты опять напился.

– Нет, сэр.

– Твоя новая комната лучше?

– Да, сэр.

– А харчи?

– Приличные, сэр.

– *Quod est demonstrandum*¹². В такое утро даже калека запляшет от радости. А у тебя на душе кошки скребут. *Ergo*¹³, ты напился.

Сэм опробовал острие бритвы на кончике мизинца с таким видом, словно собирался с минуты на минуту опробовать его на собственном горле или даже на горле своего насмешливо улыбающегося хозяина.

– Да тут эта девчонка, на кухне у миссис Трэнтер, сэр. Чтоб я терпел такое...

– Будь любезен, положи этот инструмент. И объясни толком, в чем дело.

– Вижу, стоит. Вон там, внизу. – Он ткнул большим пальцем в окно. – И орет на всю улицу.

– И что же именно, скажи на милость?

На лице Сэма выразилось негодование.

– «Эй, трубочист, почему нынче сажа?» – Он мрачно умолк. – Вот так-то, сэр.

Чарльз усмехнулся.

– Я знаю эту девушку. В сером платье? Такая уродина?

Со стороны Чарльза это был не слишком честный ход, ибо речь шла о девушке, с которой он раскланялся накануне, – прелестном создании, достойном служить украшением города Лайма.

– Не так чтоб уж совсем уродина. По крайности с лица.

– Ах вот оно что. Значит, Купидон немилостив к вашему брату кокни^[49].

Сэм бросил на него негодующий взгляд.

– Да я к ней и щипцами не притронусь. Коровница вонючая!

– Сэм, хоть ты неоднократно утверждал, что родился в кабаке...

– В соседнем доме, сэр.

– ...в непосредственной близости к кабаку... Мне бы все же не хотелось, чтобы ты употреблял кабацкие выражения в такой день, как сегодня.

– Да ведь обидно, мистер Чарльз. Все конюхи слышали.

«Все конюхи» включали ровно двух человек, из коих один был глух как пень, и потому Чарльз не выказал ни малейшего сочувствия. Он улыбнулся и знаком велел Сэму налить ему горячей воды.

– А теперь сделай милость, принеси завтрак. Я сегодня побреюсь сам. Да скажи, чтобы мне дали двойную порцию булочек.

– Слушаю, сэр.

Однако Чарльз остановил обиженного Сэма у дверей и погрозил ему кисточкой для бритья.

– Здешние девушки слишком робки, чтобы так дерзить столичным господам – если только их не раздражить. Я сильно подозреваю, Сэм, что ты вел себя фривольно. – Сэм смотрел на него, разинув рот. – И если ты немедленно не подашь мне фриштык, я велю сделать фрикасе из задней части твоей жалкой туши.

После чего дверь захлопнулась, и не слишком тихо. Чарльз подмигнул своему отражению в зеркале. Потом вдруг прибавил себе лет десять, нахмурился и изобразил эдакого солидного молодого отца семейства, сам снисходительно улыбнулся собственным ужимкам и неумеренному восторгу, задумался и стал влюбленно созерцать свою физиономию. Он и впрямь был весьма недурен: открытый лоб, черные усы, такие же черные волосы; когда он сдернул колпак, волосы растрепались, и в эту минуту он выглядел моложе своих лет. Кожа у него, как и полагается, была бледная, хотя и не настолько, как у большинства лондонских денди, – в те времена загар вовсе не считался символом завидного социально-сексуального статуса, а, напро-

¹² Что и требовалось доказать (лат.).

¹³ Следовательно (лат.).

тив, свидетельствовал лишь о принадлежности к низшим сословиям. Пожалуй, по ближайшем рассмотрении лицо это выглядело глуповатым. На Чарльза вновь накатила слабая волна вчерашнего сплина. Без скептической маски, с которой он обычно появлялся на людях, собственная физиономия показалась ему слишком наивной, слишком незначительной. Всего только и есть хорошего, что греческий нос, спокойные серые глаза. Ну и конечно, порода и способность к самопознанию.

Он принялся покрывать эту маловыразительную физиономию мыльной пеной.

Сэм был на десять лет моложе Чарльза; для хорошего слуги он был слишком молод и к тому же рассеян, вздорен и тщеславен, мнил себя хитрецом, любил паясничать и бездельничать, подпирать стенку, небрежно сунув в рот соломинку или веточку петрушки; любил изображать заядлого лошадирика или ловить решетом воробьев, когда хозяин тщетно пытался докричаться его с верхнего этажа.

Разумеется, каждый слуга-кокни по имени Сэм вызывает у нас в памяти бессмертный образ Сэма Уэллера^[50], и наш Сэм вышел, конечно, из той же среды. Однако минуло уже тридцать лет с тех пор, как на мировом литературном небосклоне засверкали «Записки Пиквикского клуба». Интерес Сэма к лошадям, в сущности, был неглубок. Он скорее напоминал современного рабочего парня, который считает доскональное знание марок автомобилей признаком своего продвижения по общественной лестнице. Сэм даже знал, кто такой Сэм Уэллер, хотя книги не читал, а только видел одну из ее инсценировок; знал он также, что времена уже не те. Кокни его поколения далеко ушли от прежних, и если он частенько вертелся на конюшне, то лишь с целью показать провинциальным конюхам и трактирной прислуге, что он им не чета.

К середине века в Англии появилась совершенно новая порода денди. Существовала еще старая аристократическая разновидность – чахлые потомки Красавчика Браммела^[51], известные под названием «щеголи»; но теперь их конкурентами по части искусства одеваться стали преуспевающие молодые ремесленники и слуги с претензией на особую доверенность хозяев, вроде нашего Сэма. «Щеголи» прозвали их «снобами»^[52], и Сэм являл собою великолепный образчик сноба в этом узком смысле. Он обладал отличным нюхом на моду – таким же острым, как «стиляги» шестидесятых годов нашего века – и тратил большую часть своего жалованья на то, чтобы не отстать от новейших течений. Он отличался и другой особенностью, присущей этому новому классу, – изо всех сил старался усвоить правильное произношение.

К 1870 году пресловутый акцент Сэма Уэллера, эта извечная особенность лондонца из простонародья, был предметом не меньшего презрения снобов, чем буржуазных романистов, которые все еще продолжали (и притом невпопад) уснащать им диалоги своих персонажей-кокни. Снобы вели жестокую борьбу со своим акцентом, и для нашего Сэма борьба эта чаще кончалась поражением, чем победой. Однако в его выговоре не было ничего смешного, напротив, он был предвестником социального переворота, чего Чарльз как раз и не понял.

Вероятно, это произошло потому, что Сэм вносил в его жизнь нечто весьма ему необходимое – ежедневную возможность повалить дурака, вновь превратиться в мальчишку-школьника и на досуге предаться своему любимому, хоть и весьма малопочтенному занятию – извергать (если можно так выразиться) дешевые острооты и каламбуры – вид юмора, с на редкость бесстыдной откровенностью основанный на преимуществах образования. И хотя может показаться, что манера Чарльза усугубляла и без того тяжкое бремя экономической эксплуатации, я должен отметить, что его отношение к Сэму отличалось известной теплотой и человечностью, что было намного лучше той глухой стены, которой столь многие нувориши в эпоху нувористства отгораживались от своей домашней прислуги.

Конечно, за Чарльзом стояло не одно поколение людей, имевших опыт обращения со слугами; современные ему нувориши такого опыта не имели, более того, они сами нередко были детьми слуг. Чарльз не мог даже представить себе мир без прислуги. Нувориши могли, и это заставляло их предъявлять более жесткие требования к относительному статусу слуг и

господ. Своих слуг они старались превратить в машины, тогда как Чарльз отлично знал, что его слуга – отчасти его сотоварищ, этакий Санчо Панса, персонаж низкой комедии, оттеняющий его возвышенный культ Эрнестины – Дульцинеи. Короче говоря, он держал при себе Сэма потому, что тот постоянно его забавлял, а не потому, что не нашлось «машины» получше.

Но разница между Сэмом Уэллером и Сэмом Фэрроу (то есть между 1836 и 1867 годами) состояла в следующем: первому его роль нравилась, второй с трудом ее терпел. Сэм Уэллер в ответ на «трубочиста» наверняка бы за словом в карман не полез. Сэм Фэрроу застыл, обиженно поднял брови и отвернулся.

8

*Где прежде лес шумел, вздыхая,
Там океан теперь пролег;
Где днесь бурлит людской поток,
Там разливалась гладь морская.*

*Вовлечены в сей вечный труд,
Твердьми гор свой вид меняют:
Туманясь, зыблются и тают
И облаками в даль плывут.*

А.Теннисон. In Memoriam (1850)

*Но если в наши дни вы хотите одновременно ничего не делать
и быть респектабельным – лучшее всего притвориться, будто вы
работаете над какой-то серьезной научной проблемой...*

Лесли Стивен. Кембриджские заметки (1865)^[53]

В то утро мрачное лицо было не только у Сэма. Эрнестина проснулась в скверном расположении духа, а оттого что день обещал быть прекрасным, оно стало еще хуже. О том, чтобы посвятить Чарльза в сущность ее недомогания – хотя и самого обыкновенного, – не могло быть и речи. И потому, когда он в десять часов утра почтительно явился с визитом, его встретила одна лишь миссис Трэнтер: Эрнестина плохо спала и хочет отдохнуть. Не придет ли он вечером к чаю, когда ей, наверное, станет лучше?

На заботливый вопрос, не послать ли за доктором, Чарльз получил вежливый отрицательный ответ, после чего откланялся. Приказав Сэму купить цветов и доставить их очаровательной больной, с разрешением и советом преподнести два-три цветочка молодой особе, столь презиращей трубочистов, Чарльз добавил, что в награду за это необременительное поручение он может целый день считать себя свободным, и стал думать, чем бы занять собственное свободное время.

Вопрос решился просто: разумеется, ради здоровья Эрнестины он поехал бы в любое место, но благодаря тому, что этим местом оказался Лайм-Риджис, выполнять предсвадебные обязанности было восхитительно легко. Стоунбэрроу, Черное болото, Вэрские утесы – все эти названия для вас, быть может, ничего не значат. Между тем Лайм-Риджис расположен в центре одного из редких обнажений породы, именуемой голубой леас. Для любителя живописных пейзажей голубой леас ничем не привлекателен. Уныло-серый по цвету, окаменелый ил по структуре, он не живописен, а уродлив. Вдобавок он еще и опасен, потому что его пласты хрупки и имеют тенденцию оползать, вследствие чего с этого отрезка леасового побережья длиной в каких-нибудь двенадцать миль за время его существования сползло в море больше земли, чем где-либо еще в Англии. Однако богатое содержание окаменелостей и неустойчивость сделали его Меккой для британских палеонтологов. В течение последних ста лет – если не больше – самый распространенный представитель животного мира на здешних берегах – это человек, орудующий геологическим молотком.

Чарльз уже побывал в одной из известнейших лаймских лавок той поры – в лавке древних окаменелостей, основанной Мэри Эннинг^[54], замечательной женщиной, не получившей систематического образования, но одаренной способностью отыскивать хорошие – а в ту пору часто

еще и не классифицированные – образцы. Она первой нашла кости *Ichthyosaurus platyodon*¹⁴; и хотя многие тогдашние ученые с благодарностью использовали ее находки для упрочения собственной репутации, к величайшему стыду британской палеонтологии, ни одна здешняя разновидность не названа в ее честь anningii. Этой местной достопримечательности Чарльз платил данью уважения, а также наличными – за разнообразные аммониты^[55] и *Isocrina*¹⁵, которые он приобретал для застекленных шкафчиков, стоявших по стенам его кабинета в Лондоне. Правда, ему пришлось испытать некоторое разочарование, ибо он в то время специализировался по ископаемым, которых в лавке было очень мало.

Предметом его изучения были окаменелые морские ежи. Их иногда называют панцирями (или тестами, от латинского *testa* — черепаха, глиняный горшок), а в Америке – песочными долларами. Панцири бывают самой разнообразной формы, но они всегда идеально симметричны и отличаются тонкой штриховой текстурой. Независимо от их научной ценности (вертикальные серии пород в районе мыса Бичихед в начале 1860-х годов стали одним из первых материальных подтверждений теории эволюции), панцири очень красивы; очарование их состоит еще и в том, что попадаются они чрезвычайно редко. Можно рыскать много дней подряд и не наткнуться ни на одного морского ежа, но зато утро, когда вы найдете штуки две или три, станет поистине достопамятным. Быть может, Чарльза, как прирожденного дилетанта, который не знает, чем бы заполнить время, бессознательно привлекало именно это; были у него, разумеется, и научные соображения, и он вместе с другими поклонниками *Echinodermia*¹⁶ возмущался, что ими до сих пор постыдно пренебрегали – обычное оправдание слишком больших затрат времени в слишком ограниченной области. Но так или иначе морские ежи были его слабостью.

Панцири морских ежей, однако, встречаются не в голубом леасе, а в напластованиях кремня, и нынешний хозяин лавки окаменелостей посоветовал Чарльзу искать их к западу от города, причем не обязательно у самого берега. Через полчаса после визита к миссис Трэнтер Чарльз снова отправился на Кобб.

В тот день знаменитый мол отнюдь не пустовал. Здесь было много рыбаков – одни смолитили лодки, другие чинили сети или возились с вершами для ловли крабов и омаров. Были здесь и представители более высоких слоев общества из числа приезжих и местных жителей; они прогуливались по берегу еще не утихшего, но уже не опасного моря. Чарльз заметил, что женщины, которая накануне стояла на конце мола, нигде не было видно. Впрочем, он тут же выбросил из головы и ее, и самый Кобб и быстрым упругим шагом, совсем не похожим на его обычную вялую городскую походку, двинулся вдоль подножья прибрежных утесов к цели своего путешествия.

Он был так тщательно снаряжен для предстоящего похода, что непременно вызвал бы у вас улыбку. На ногах его красовались грубые, подбитые гвоздями башмаки и парусиновые гетры, натянутые поверх толстых суконных брюк. Под стать им было узкое, до смешного длинное пальто, широкополая парусиновая шляпа неопределенно-бежевого цвета, массивная ясеневая палка, купленная по дороге на Кобб, и необъятный рюкзак, из которого, если бы вам вздумалось его потрясти, высыпался бы тяжеленный набор молотков, всяких обертков, записных книжек, коробочек из-под пилюль, тесел и бог весть каких еще предметов. Нет ничего более для нас непостижимого, чем методичность викторианцев; лучше (и забавнее) всего она представлена в советах, на которые так щедры первые издания Бедекера^[56]. Невольно задаешься вопросом – как путешественники ухитрялись извлекать из всего этого удовольствие?

¹⁴ Плоскозубого ихтиозавра (лат.).

¹⁵ Группа морских лилий (лат.).

¹⁶ Иголкожие (лат.).

Почему, например, Чарльзу не пришло в голову, что легкая одежда куда как удобнее, а ходить по камням в башмаках, подбитых гвоздями, все равно что бегать по ним на коньках?

Да, нам смешно. Но быть может, есть нечто достойное восхищения в этом несоответствии между тем, что удобно, и тем, что настоятельно рекомендуется. Здесь перед нами вновь предстает спор между двумя столетиями: обязаны мы следовать велениям долга¹⁷⁽²⁹⁰⁾ или нет? Если эту одержимость экипировкой, эту готовность к любым непредвиденным обстоятельствам мы сочтем просто глупостью, пренебрежением реальным опытом, мы, я думаю, совершим серьезную – вернее, даже легкомысленную – ошибку по отношению к нашим предкам: ведь именно люди, подобные Чарльзу, так же как и он, с чрезмерным старанием одетые и экипированные, заложили основу всей современной науки. Их недомыслие в этом направлении было всего лишь признаком серьезности в другом, гораздо более важном. Они чувствовали, что текущие счета мироздания далеко не в порядке, что они позволили условностям, религии, социальному застою замутнить их окна, выходящие на действительность; короче говоря, они знали, что им надо многое открыть и что эти открытия чрезвычайно важны, ибо от них зависит будущее человечества. Мы же думаем (если только не живем в научно-исследовательской лаборатории), что открывать нам нечего, а чрезвычайно важно для нас лишь то, что имеет касательство к сегодняшнему дню человечества. Тем лучше для нас? Очень может быть. Но ведь последнее слово будет принадлежать не нам.

Поэтому я не стал бы смеяться в ту минуту, когда Чарльз, стуча молотком, нагибаясь и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, попытался в десятый раз за день перепрыгнуть с одного валуна на другой, поскользнулся и, к стыду своему, съехал вниз на спине. Это, впрочем, не слишком его огорчило, ибо день был прекрасен, леасовых окаменелостей попадалась уйма и кругом не было ни души.

Море искрилось, кроншнепы кричали. Стая сорок-куликов, черно-белых, с красными лапками, летела впереди, возвещая о его приближении. Кое-где поблескивали скальные водоемы, и в уме у бедняги зашевелились еретические мысли: а не будет ли интереснее, нет, нет, ценнее, с точки зрения науки, заняться биологией моря? Быть может, бросить Лондон, обосноваться в Лайме... Но Эрнестина никогда на это не пойдет. Выдалась даже – о чем я рад вам сообщить – такая минута, когда Чарльза вдруг осенило, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо. Он осторожно огляделся и, убедившись, что никто его не видит, аккуратно снял тяжелые башмаки, чулки и гетры. На минуту как бы вновь превратившись в школьника, он хотел было вспомнить подходящую строку из Гомера, чтобы придать законченность поистине античной гармонии этого мгновенья, но тут внимание его отвлекла необходимость поймать маленького краба, который удирал с того места, где на его бдительные стебельчатые глаза пала огромная тень.

Возможно, презирая Чарльза за преувеличенную заботу об инструментарии, вы равным образом презираете его за отсутствие специализации. Следует, однако, помнить, что в те времена – в отличие от нынешних – никто еще не отмахивался от естественной истории, приравнивая ее к бегству от действительности – и, увы, слишком часто – в область чувств. Чарльз был знающим орнитологом и вдобавок ботаником. Вероятно, если иметь в виду только прогресс науки, ему следовало бы закрыть глаза на все, кроме окаменелых морских ежей, или посвятить всю свою жизнь проблеме распространения водорослей; но вспомните Дарвина, вспомните «Путешествие на «Бигле». «Происхождение видов» – триумф обобщения, а не специализации,

¹⁷ В доказательство того, что агностицизм и атеизм середины викторианского века (в отличие от современных) были тесно связаны с теологической догмой, я бы, пожалуй, привел знаменитое изречение Джордж Элиот⁽²⁹⁰⁾: «Бог непостижим, бессмертие неправдоподобно, долг же непререкаем и абсолютен». Добавим: становится тем более непререкаемым ввиду столь ужасающего двойного отклонения от веры. (Примеч. автора.)

⁽²⁹⁰⁾ *Джордж Элиот* – псевдоним известной английской писательницы-романистки Мэри Энн Эванс (1819 – 1880). Приведенное здесь устное высказывание приписывается Дж. Элиот эссеистом Ф. Майерсом.

и если бы вам даже удалось доказать мне, что последняя была бы лучше для Чарльза – бездарного ученого, я все равно упорно твердил бы, что первая лучше для Чарльза-человека. Дело не в том, что дилетанты могут позволить себе совать нос куда угодно, – они просто обязаны совать нос куда угодно, и к чертям всех ученых тупиц, которые пытаются упрятать их в какой-нибудь тесный каменный мешок.

Чарльз называл себя дарвинистом, но сути дарвинизма он не понял. Как, впрочем, и сам Дарвин. Гениальность Дарвина состояла в том, что он опроверг Линнееву *Scala Naturae*^[57] — лестницу природы, краеугольным камнем которой, столь же важным для нее, как для теологии божественная сущность Христа, было положение: *nulla species nova* — новый вид возникнуть не может. Этот принцип объясняет страсть Линнея все классифицировать и всему давать названия, рассматривать все существующее как окаменелости. Сегодня мы видим, что это была заранее обреченная на провал попытка закрепить и остановить непрерывный поток, почему нам и кажется вполне закономерным, что сам Линней в конце концов сошел с ума: он знал, что находится в лабиринте, но не знал, что стены и коридоры этого лабиринта все время изменяются. Даже Дарвин так никогда и не сбросил шведские оковы; и Чарльза едва ли можно упрекнуть за мысли, которые теснились в его голове, когда он разглядывал пласты известняка в нависавших над ним утесах.

Он знал, что *nulla species nova* – чепуха, и все же видел в этих пластах чрезвычайно утешительную упорядоченность мироздания. Он мог бы, пожалуй, усмотреть также весьма актуальный социальный символ в том, как осыпаются эти серо-голубые скалы; но главное, что он открыл здесь, была своего рода незыблемость времени как некоего здания, в котором непреложные (а следовательно, божественно благодетельные, ибо кто может отрицать, что порядок – наивысшее благо для человечества?) законы выстроились весьма удобно для выживания самых приспособленных и лучших, *exempli gratia*¹⁸ Чарльза Смитсона, и вот он в этот чудесный весенний день одиноко бродит здесь, любознательный и пытливый, наблюдая, запоминая и с благодарностью принимая все вокруг. Конечно, в этой картине недоставало последствий крушения лестницы природы: ведь если возникновение новых видов все-таки возможно, старым зачистую приходится уступать им место. Исчезновение с лица земли отдельной особи Чарльз – как и любой викторианец – допускал. Но мысли об исчезновении с лица земли всего живого не было у него в голове точно так же, как не было в тот день даже самого крошечного облачка в небесах у него над головой; и тем не менее, снова напялив чулки, башмаки и гетры, он уже вскоре держал в руках весьма конкретный тому пример.

Это был прекрасный кусок леаса с отпечатками аммонитов, на редкость четкими – микроскопы макрокосмов, взвихренные галактики, огненным колесом пронесшиеся по десятидюймовому обломку породы. Аккуратно пометив на этикетке дату и место находки, Чарльз, как мальчишка, играющий в классы, перепрыгнул из науки... на этот раз прямо в любовь. Он решил по возвращении подарить свою находку Эрнестине. Камень так красив, что непременно ей понравится, да и в конце концов скоро вернется к нему – вместе с ней. Более того, мешок у него за спиной заметно отяжелел, и потому его находка превращалась в подарок, добытый тяжким трудом. Долг, приятная необходимость плыть по течению эпохи, поднял свою суровую голову.

А с ним явилось и сознание того, что он шел гораздо медленней, чем думал. Он расстегнул пальто и достал охотничьи часы с серебряной крышкой. Два часа! Стремительно обернувшись, он увидел, что волны захлестывают края небольшого мыса примерно в миле от него. Он не боялся, что прилив отрежет ему обратный путь, потому что прямо над собой заметил крутую, но безопасную тропинку, которая, поднимаясь по склону утеса, терялась в густом лесу. Однако вернуться берегом было уже невозможно. Впрочем, он с самого начала хотел дойти

¹⁸ Например (лат.).

до этой тропы, но только побыстрее, а потом забраться туда, где выходили на поверхность напластования кремня. Чтоб наказать себя за медлительность, он торопливо полез в гору, но в своем отвратительном толстом одеянии так вспотел, что вынужден был присесть и отдышаться. Услыхав поблизости журчанье ручейка, он напился, намочил носовой платок, обтер себе лицо и стал осматриваться.

9

*Такому сердцу, как твое, судьбою
Надолго быть любимым не дано;
Нет места в нем довольству и покою:
Неистовым огнем горит оно.*

Мэтью Арнольд. Прощание (1852)^[58]

Я привел две наиболее очевидные причины, заставившие Сару Вудраф предстать перед судом миссис Поултни. Впрочем, она была не из тех, кто способен доискиваться до причин своих поступков, и к тому же было или должно было быть много иных причин, ибо репутация миссис Поултни в менее высоких сферах Лайма не могла остаться ей неизвестной. Целый день она пребывала в нерешительности, после чего отправилась просить совета у миссис Тальбот. Миссис Тальбот была женщина молодая и чрезвычайно добросердечная, но не слишком пронырливая, и хотя она охотно взяла бы Сару обратно – во всяком случае, она уже предлагала это сделать, – ей было ясно, что Сара сейчас не может дено и ночно заботиться о своих подопечных, как того требует должность гувернантки. Но помочь ей она все-таки очень хотела.

Она знала, что Саре грозит нищета, и не спала ночами, воображая сцены из прочитанных в юности душещипательных романов, в которых умирающие с голоду героини замерзают на снегу у порога или мечутся в жару на убогом чердаке с протекающей крышей. Но одна картина – она реально существовала в виде иллюстрации к назидательной повести миссис Шервуд^[59] – вобрала в себя ее худшие опасения. Женщина, убегающая от погони, бросается в пропасть с утеса. Вспышка молнии освещает зверские физиономии ее преследователей, на бледном лице несчастной застыло выражение смертельного ужаса, а ее черный плащ взметнулся вверх вороновым крылом неминуемой смерти.

Поэтому миссис Тальбот скрыла свои сомнения насчет миссис Поултни и посоветовала Саре согласиться. Когда бывшая гувернантка, расцеловав на прощанье малюток, Поля и Виргинию^[60], пошла в Лайм, она была уже обречена. Она положила на миссис Тальбот, а если умная женщина полагается на дуру, пусть даже самую добросердечную, то чего ей еще ожидать?

Сара и впрямь была умна, только ум ее был редкостного свойства – его, безусловно, нельзя было бы обнаружить посредством наших современных тестов. Он не сводился к способности аналитически мыслить или решать поставленные задачи, и весьма характерно, что единственным предметом, который давался ей с мучительным трудом, была математика. Не выражался он и в какой-либо особой сообразительности или остроумии, даже и в лучшую пору ее жизни. Скорее это была какая-то сверхъестественная способность – сверхъестественная для женщины, никогда не бывавшей в Лондоне и не вращавшейся в свете, – определять истинную цену других людей, понимать их в полном смысле этого слова.

Она обладала своеобразным психологическим эквивалентом чутья, присущего опытному барышнику, – способностью с первого взгляда отличить хорошую лошадь от плохой; иными словами, она, как бы перескочив через столетие, родилась с компьютером в сердце. Именно в сердце, ибо величины, которые она вычисляла, принадлежали к сфере скорее сердечной, нежели умственной. Она инстинктивно распознавала необоснованность доводов, мнимую ученость, предвзятость суждений, с которыми сталкивалась, но она видела людей насквозь и в более тонком смысле. Подобно компьютеру, не способному объяснить происходящие в нем процессы, она, сама не зная почему, видела людей такими, какими они были на самом деле,

а не такими, какими притворялись. Мало того, что она верно судила о людях с нравственной точки зрения. Ее суждения были гораздо глубже, и если бы она руководствовалась одной только нравственностью, она и вела бы себя по-другому – недаром в Уэймуте она вовсе не останавливалась у своей родственницы.

Врожденная интуиция была первым проклятием ее жизни; вторым было образование. Образование, надо сказать, довольно посредственное, какое можно получить в третьеразрядном эксетерском^[61] пансионе для молодых девиц, где она днем училась, вечерами же – а порой и за полночь – шила и штопала, чтоб оплатить учебу. С соученицами она не дружила. Они задирали перед нею нос, а она опускала перед ними глаза, но видела их насквозь. Вот почему она оказалась гораздо начитаннее в области изящной словесности и поэзии (два прибежища для одиноких душ), чем большинство ее товарок. Чтение заменяло ей жизненный опыт. Сама того не сознавая, она судила людей скорее по меркам Вальтера Скотта и Джейн Остин, нежели по меркам, добытым эмпирическим путем, и, видя в окружающих неких литературных персонажей, полагала, что порок непременно будет наказан, а добродетель восторжествует. Но – увы! – то, чему она таким образом научилась, было сильно искажено тем, чему ее учили. Придав ей лоск благородной дамы, ее сделали настоящей жертвой кастового общества. Отец вытолкнул ее из своего сословия, но не смог открыть ей путь в более высокое. Для молодых людей, с которыми она стояла на одной ступени общественной лестницы, она была теперь слишком хороша, а для тех, на чью ступень она хотела бы подняться, осталась слишком заурядной.

Отец Сары, тот самый, которого приходский священник Лайма назвал «человеком наилучших правил», обладал, напротив, полным набором правил наихудших. Он определил свою единственную дочь в пансион не потому, что заботился о ее будущем, а потому, что был одержим собственным происхождением. В четвертом поколении с отцовской стороны нашлись предки, в чьих жилах несомненно текла дворянская кровь. Было установлено даже отдаленное родство с семейством Дрейков^[62] – обстоятельство само по себе несущественное, но с годами заставившее его колеблемо уверовать, будто он происходит по прямой линии от знаменитого сэра Фрэнсиса. Вудрафы действительно некогда владели чем-то вроде поместья на холодной зеленой ничьей земле между Дартмуром и Эксмуром. Отец Сары трижды видел его собственными глазами и всякий раз возвращался на маленькую ферму, которую арендовал в обширном имении Меритонов, предаваться размышлениям, строить планы и мечтать.

Возможно, он был разочарован, когда дочь его в возрасте восемнадцати лет вернулась из пансиона – кто знает, какого золотого дождя он ожидал? – и, сидя против него за столом, смотрела на него и слушала его похвальбу, смотрела с невозмутимой сдержанностью, которая раздражала и выводила его из себя, как дорогой, но непригодный в хозяйстве инвентарь (он был родом из Девоншира, а для девонширцев деньги – это все), и в конце концов довела до сумасшествия. Он отказался от аренды и купил себе ферму; но купил слишком дешево, и сделка, которую он считал ловкой и выгодной, оказалась катастрофически невыгодной. Несколько лет он бился, пытаясь сохранить одновременно и закладную, и свои нелепые аристократические замашки, а затем сошел с ума в прямом смысле слова, и его посадили в дорчестерский дом для умалишенных. Там он спустя год и умер. К этому времени Сара уже год сама зарабатывала себе на жизнь – сначала в одном семействе в Дорчестере, чтобы быть поближе к отцу. После его смерти она поступила к Тальботам.

Наружность Сары сразу бросалась в глаза, и потому, несмотря на отсутствие приданого, у нее находились поклонники. Но всякий раз начинало действовать ее первое врожденное проклятие – она видела насквозь этих слишком самонадеянных претендентов на ее руку и сердце. Она видела их скаредность, их надменно-покровительственную манеру, их жалкую филантропию, их глупость. Таким образом, Саре была неизбежно уготована та самая участь, от которой природа, затратившая столько миллионов лет на ее создание, несомненно, стремилась ее избавить, – участь старой девы.

Теперь давайте вообразим невозможное, а именно, что миссис Поултни, как раз в тот день, когда Чарльз в высоконаучных целях удрал от обременительных обязанностей жениха, решила составить список достоинств и недостатков Сары. Во всяком случае, такое предположение вполне допустимо, потому что в тот день Сары, или мисс Сары, как величали ее в Мальборо-хаусе, не было дома.

Начнем с более приятной графы счета – с прихода. Первым, несомненно, оказался бы пункт, которого при заключении договора год назад меньше всего можно было ожидать. Выглядеть он мог бы так: «Более приятная атмосфера в доме». Хотите верьте, хотите нет, но никому из прислуги (статистика показывает, что в прошлом это чаще всего случалось с прислугой женского пола) за время пребывания Сары в доме не указали на дверь.

Оно, это ни с чем не сообразное изменение, началось однажды утром, спустя каких-нибудь две-три недели после того, как мисс Сара вступила в должность, то есть приняла на себя ответственность за душу миссис Поултни. Хозяйка со свойственным ей нюхом обнаружила грубейшее упущение: горничная верхних покоев, обязанная по вторникам неукоснительно поливать папоротники во второй гостиной (у миссис Поултни их было две – одна для нее самой, другая для гостей), пренебрегла своими обязанностями. Папоротники продолжали всепрощающе зеленеть, миссис Поултни, напротив, угрожающе побелела. Преступницу вызвали на допрос. Она призналась, что забыла. Миссис Поултни могла бы, сделав над собой усилие, посмотреть на это сквозь пальцы, но в досье горничной уже числилось несколько подобных прегрешений. Ее час пробил, и миссис Поултни, подобно псу, который, повинувшись суровому долгу, вонзает зубы в ногу вора, принялась бить в погребальный колокол.

– Я готова терпеть многое, но этого я не потерплю.

– Я больше не буду, мэм.

– В моем доме вы, безусловно, больше не будете.

– О, мэм! Простите, пожалуйста, мэм!

Миссис Поултни позволила себе несколько секунд упиваться слезами горничной.

– Миссис Фэрли выдаст вам ваше жалованье.

Мисс Сара присутствовала при этом разговоре, потому что миссис Поултни как раз диктовала ей письма, большей частью к епископам или, во всяком случае, таким тоном, каким принято обращаться к епископам. Она вдруг задала вопрос, который произвел впечатление внезапно разорвавшейся бомбы. Начать с того, что впервые в присутствии миссис Поултни она задала вопрос, не имевший прямого отношения к ее обязанностям. Во-вторых, он выражал скрытое несогласие с приговором хозяйки. В-третьих, он был обращен не к миссис Поултни, а к горничной.

– Ты нездорова, Милли?

Оттого ли, что в этой комнате прозвучал участливый голос, оттого ли, что девушке стало дурно, она, к ужасу миссис Поултни, опустилась на колени, замотала головой и закрыла лицо руками. Мисс Сара бросилась к ней и тотчас узнала, что горничная и в самом деле нездорова, что за последнюю неделю она дважды падала в обморок, боялась кому-нибудь сказать...

Когда спустя некоторое время мисс Сара вернулась из комнаты, где спали служанки и где теперь уложили в постель Милли, миссис Поултни в свою очередь задала поразительный вопрос:

– Что же мне теперь делать?

Мисс Сара посмотрела ей в глаза, и то, что выразил ее взгляд, сделал ее последующие слова не более чем уступкой условностям.

– То, что вы сочтете нужным, сударыня.

Так редкостный цветок – прощение – незаконно прижился в Мальборо-хаусе, а когда доктор, осмотрев горничную, нашел у нее бледную немочь, миссис Поултни открыла некое извращенное наслаждение в том, чтобы казаться по-настоящему доброй. Последовало еще два-

три случая, хотя и не столь драматичных, но приблизительно в том же духе; правда, всего лишь два-три, потому что Сара взяла на себя труд самолично совершать предупредительный обход. Она раскусила миссис Поултни и вскоре научилась вертеть ею по своему усмотрению, как ловкий кардинал при слабохарактерном Папе, хотя и в более благородных целях.

Вторым, менее неожиданным пунктом в гипотетическом списке миссис Поултни был бы, наверное, «ее голос». Если мирскими потребностями слуг хозяйка порою пренебрегала, то об их духовном благополучии она пеклась неусыпно. По воскресеньям всем вменялось в обязанность дважды посетить церковь; сверх того, в доме ежедневно служили заутреню – пели гимн, читали отрывок из Библии и молитвы – священнодействие, которым величественно руководила сама хозяйка. Ее, однако, всякий раз бесило, что даже самые грозные ее взгляды не могли привести прислугу в состояние полного смирения и раскаяния, которого, как полагала миссис Поултни, должен требовать от челядинцев их Господь (не говоря о ее собственном). Их лица, как правило, выражали смесь страха перед хозяйкой и непроходимой тупости, свойственных скорее стаду перепуганных овец, нежели сонму раскаявшихся грешников. Но с появлением Сары все изменилось.

Голос у нее действительно был очень красивый – чистый и звучный, хотя всегда омраченный скорбью и часто проникнутый глубоким чувством, но главное – голос этот был искренним. Впервые в своем неблагодарном мирке миссис Поултни увидела на лицах слуг выражение непритворного внимания, а порою и подлинной веры.

Это было прекрасно, но требовалось еще пройти второй круг богослужения. Вечером слугам разрешалось молиться в кухне под равнодушным оком и под аккомпанемент скрипучего деревянного голоса миссис Фэрли. Наверху миссис Поултни слушала чтение из Библии в одиночестве, и именно во время этой интимной церемонии голос Сары звучал и воздействовал всего сильнее. Раза два ей удалось кое-что совсем уж невероятное – на опухшие непреклонные глаза миссис Поултни навернулись слезы. Эффект этот, на который Сара отнюдь не рассчитывала, проистекал из глубокого различия между нею и хозяйкой. Миссис Поултни верила в Бога, которого никогда не существовало, а Сара знала Бога, который, напротив, существовал вполне реально.

В отличие от многих почтенных священнослужителей, чей голос, помимо их воли, производит брехтовский эффект отчуждения^[63], голос Сары оказывал действие прямо противоположное: она говорила о страданиях Христа, человека, рожденного в Назарете, говорила так, словно историческое время остановилось, а порою, когда в комнате было темно и она, казалось, почти забывала о присутствии миссис Поултни, – так, словно сама видела его перед собою распятым на кресте. Однажды, дойдя до слов «*Lama, lama, sabachthane me*»¹⁹, она запнулась и умолкла. Обернувшись к ней, миссис Поултни увидела, что лицо ее залито слезами. Это мгновение избавило Сару от множества неприятностей в дальнейшем и, быть может, – ибо старуха встала и коснулась рукою поникшего плеча девушки – в один прекрасный день вызовет душу миссис Поултни из адского пламени, в котором она теперь уже основательно изжарилась.

Я рискую выставить Сару ханжой. Но она не была знатоком теологии, и, подобно тому как она видела насквозь людей, она сквозь вульгарные витражи видела заблуждения и узкий педантизм викторианской церкви. Она видела страдания и молилась о том, чтобы им наступил конец. Я не знаю, кем она могла бы стать в наш век, но уверен, что много веков назад она стала бы святой или возлюбленной какого-нибудь императора. И не вследствие своей религиозности или сексуальности, а вследствие редкостного сплава прозорливости и эмоциональности, который составлял сущность ее натуры.

¹⁹ «Боже, Боже, зачем ты меня покинул» (арам.).

Были еще и другие пункты: Сара обладала способностью – совершенно неслыханной и почти уникальной – не слишком часто действовать на нервы миссис Поултни, умела ненавязчиво взять на себя различные домашние обязанности и была искусной рукодельницей.

Ко дню рождения миссис Поултни Сара подарила ей салфеточку для спинки кресла (не потому, что какое-либо из кресел, в которых восседала миссис Поултни, нуждалось в защите от фиксатуара, а потому, что в те времена все кресла без подобного аксессуара казались какими-то голыми), вышитую по краям изящным узором из папоротников и ландышей. Салфеточка очень понравилась миссис Поултни, к тому же она робко, но неизменно – возможно, Сара и впрямь была своего рода ловким кардиналом – всякий раз, как людоедша всходила на свой трон, напоминала ей, что ее подопечная все-таки достойна снисхождения. Эта скромная вещица сослужила Саре ту же службу, что бессмертная дрофа Чарльзу.

Наконец – и это оказалось самой тяжелой мукой для жертвы – Сара выдержала испытание религиозными трактатами. Подобно многим жившим в уединении богатым вдовам викторианской поры, миссис Поултни верила в чудодейственную силу трактатов. Пусть лишь один из тех десяти, кто эти трактаты получал, мог их прочесть (а многие вообще не умели читать), пусть тот один из десяти, кто знал грамоту и даже сумел их прочесть, так и не понял, о чем ведут речь их преподобные авторы... но всякий раз, когда Сара отправлялась раздавать очередную пачку, миссис Поултни видела, как на ее текущий счет в небесах записывают мелом соответственное число спасенных душ; и, кроме того, она видела, что любовница французского лейтенанта публично исполняет епитимью, и это тоже была улада. Остальные жители Лайма, во всяком случае из числа менее состоятельных, тоже это видели и выказывали Саре гораздо больше сочувствия, чем могла себе представить миссис Поултни.

Сара сочинила короткую формулу: «От миссис Поултни. Пожалуйста, прочтите и сохраните в своем сердце». При этом она смотрела в глаза хозяину дома. Ехидные улыбочки скоро угасли, а злые языки умолкли. Я думаю, что из ее глаз люди узнали больше, чем из напечатанных убористым шрифтом брошюр, которые им навязывали.

Но теперь нам следует перейти к статьям расхода. Первый и главный пункт, несомненно, гласил бы: «Гуляет одна». Как было оговорено при найме, мисс Саре раз в неделю предоставлялось свободное время во второй половине дня, что миссис Поултни считала достаточно ясным доказательством ее привилегированного положения по сравнению с горничными; впрочем, такая щедрость объяснялась лишь необходимостью разносить трактаты, а также советом священника. Два месяца все как будто шло хорошо. Потом в одно прекрасное утро мисс Сара не явилась к утренней службе, а когда за ней послали горничную, оказалось, что она не вставала с постели. Миссис Поултни отправилась к ней сама. Сара опять была в слезах, что на этот раз вызвало у миссис Поултни лишь раздражение. Однако она послала за доктором. Тот долго беседовал с Сарой наедине. Спустившись к раздосадованной миссис Поултни, он прочел ей краткую лекцию о меланхолии – для своего времени и местопребывания он был человеком передовых взглядов – и велел предоставить грешнице большую свободу и возможность дышать свежим воздухом.

– Если вы утверждаете, что это совершенно необходимо...

– Да, сударыня, утверждаю. И весьма категорически. В противном случае я снимаю с себя всякую ответственность.

– Это крайне неудобно. – (Однако доктор грубо молчал.) – Я согласна отпустить ее два раза в неделю.

В отличие от приходского священника доктор Гроган не особенно зависел от миссис Поултни в финансовом отношении, а уж если сказать всю правду, в Лайме не было человека, свидетельство о смерти которого он подписал бы с меньшим прискорбием. Но он подавил свою желчь, напомнив миссис Поултни, что во второй половине дня она всегда спит, и притом по его же строжайшему предписанию. Таким образом, Сара обрела ежедневную полусвободу.

Следующая запись в графе расходов гласила: «Не всегда выходит к гостям». Здесь миссис Поултни столкнулась с поистине неразрешимой дилеммой. Она, разумеется, хотела выставить напоказ свою благотворительность, а следовательно, и Сару. Но лицо Сары весьма неприятно действовало на гостей. Ее скорбь выражала упрек; ее крайне редкое участие в разговоре – неизменно вызванное каким-либо вопросом, обязательно требующим ответа (гости поумнее скоро научились адресоваться к компаньонке-секретарше с замечаниями сугубо риторического свойства), – отличалось неуместной категоричностью, и не потому, что Сара не желала поддерживать беседу, а потому, что в ее невинных замечаниях заключался простой, то есть здравый взгляд на предмет, который мог питаться лишь качествами, противоположными простоте и здравому смыслу. При этом она сильно напоминала миссис Поултни закованный в цепи труп казненного преступника – в дни ее юности их вывешивали напоказ в назидание другим.

И здесь Сара вновь выказала свои дипломатические способности. Во время визитов некоторых старинных знакомых хозяйки она оставалась; при появлении прочих она либо уходила через несколько минут, либо незаметно скрывалась, как только о них докладывали, и еще прежде, чем их успевали ввести в гостиную. Потому-то Эрнестина ни разу и не встретила ее в Мальборо-хаусе. Это, по крайней мере, давало миссис Поултни возможность сетовать на то, сколь тяжкий крест она несет, хотя исчезновение или отсутствие самого креста косвенно намекало на ее неспособность таковой нести, что было весьма досадно. Но едва ли Сару можно за это винить.

Однако худшее я приберег напоследок. Это было вот что: «Все еще выказывает привязанность к своему соблазнителю».

Миссис Поултни не раз пыталась вывести как подробности грехопадения, так и нынешнюю степень раскаяния в оном. Ни одна мать-игуменья не могла бы упорнее домогаться исповеди какой-нибудь заблудшей овечки из своего стада. Но Сара была чувствительна, как морской анемон; с какой бы стороны миссис Поултни ни подступала к этой теме, грешница тотчас догадывалась, к чему она клонит, а ее ответы на прямые вопросы если не дословно, то по существу повторяли сказанное ею на первом допросе.

Здесь следует заметить, что миссис Поултни выезжала из дому очень редко, а пешком не выходила никогда; ездила она только в дома лиц своего круга, так что за поведением Сары вне дома ей приходилось следить с помощью чужих глаз. К счастью для нее, пара таких глаз существовала; более того, разум, этими глазами управлявший, был движим завистью и злобой, и потому его обладательница регулярно и с удовольствием поставляла доносы ограниченной в своих передвижениях хозяйке. Этой шпионкой была, разумеется, не кто иная, как миссис Фэрли. Несмотря на то что она вовсе не любила читать вслух, ее оскорбило понижение в должности, и хотя Сара была с нею безукоризненно любезна и всячески старалась показать, что не посягает на должность экономки, столкновения были неизбежны. Миссис Фэрли ничуть не радовало, что у нее стало меньше работы – ведь это значило, что ее влияние тоже уменьшилось. Спасение Милли – и другие случаи более осторожного вмешательства снискали Саре популярность и уважение прислуги, и, быть может, экономка оттого и злобствовала, что не имела возможности дурно отзываться о компаньонке-секретарше в присутствии своих подчиненных. Она была обидчива и раздражительна, и единственное ее удовольствие состояло в том, чтобы узнавать самое худшее и ожидать самого худшего, и потому она постепенно возненавидела Сару лютой ненавистью.

Она была очень хитра и потому не показывала этого миссис Поултни. Напротив, она притворялась, будто очень жалеет «бедную мисс Вудраф», и доносы ее были обильно приправлены словами вроде «боюсь» и «опасаюсь». Однако у нее была отличная возможность шпионить – она не только постоянно отлучалась в город по делам службы, но при том еще располагала широкой сетью родственников и знакомых. Им она намекнула, что миссис Поултни желает – разумеется, из наилучших, в высшей степени христианских побуждений – знать, как ведет себя

мисс Вудраф за пределами высоких каменных стен, окружавших сад Мальборо-хауса. Поэтому – а Лайм-Риджис в ту пору (как, впрочем, и теперь) кишел сплетнями, как синий дорсетский сыр личинками мух, – что бы Сара в свое свободное время ни говорила, куда бы ни ходила, в сгущенных красках и в превратно истолкованном виде тотчас становилось известно экономке.

Маршрут Сары – когда ее не заставляли раздавать трактаты – был очень прост; во второй половине дня она всегда совершала одну и ту же прогулку: вниз по крутой Паунд-стрит на крутую Брод-стрит и оттуда к Воротам Кобб, квадратной террасе над морем, которая не имеет ничего общего с молом Кобб. Там она останавливалась у стены и смотрела на море, но обычно недолго – не дольше, чем капитан, который, выйдя на мостик, внимательно изучает обстановку, – после чего-либо сворачивала на площадь Кокмойл, либо направлялась в другую сторону, на запад, по тропе длиной в полмили, ведущей берегом тихой бухты к самому Коббу. С площади она почти всегда заходила в приходскую церковь и несколько минут молилась (обстоятельство, которое доносица ни разу не сочла достойным упоминания), а потом шла по дороге, ведущей от церкви к Церковным утесам, чьи травянистые склоны поднимаются к осыпавшимся стенам на краю Черного болота. Здесь можно было видеть, как она, то и дело оглядываясь на море, идет к тому месту, где тропа сливается со старой дорогой на Чармут, ныне давно уже размытой, а оттуда возвращается обратно в Лайм. Эту прогулку она совершала, когда на Коббе бывало слишкомлюдно, но если из-за плохой погоды или по иной причине мол пустовал, она обыкновенно поворачивала к нему, доходила до его конца и останавливалась там, где Чарльз впервые ее увидел и где она, как полагали, чувствовала себя ближе всего к Франции.

Все это, разумеется, в искаженном виде и в самом черном свете неоднократно доводилось до сведения миссис Поултни. Однако в то время она еще наслаждалась своей новой игрушкой и выказывала ей такое расположение, на какое только была способна ее угрюмая и подозрительная натура. Тем не менее она не преминула призвать игрушку к ответу.

– Мисс Вудраф, мне сказали, что во время прогулок вас всегда видят в одних и тех же местах. – Под ее осуждающим взглядом Сара опустила глаза. – Вы смотрите на море. – Сара по-прежнему молчала. – Я не сомневаюсь, что вы раскаиваетесь. В ваших теперешних обстоятельствах ничего другого и быть не может.

Сара поняла намек.

– Я вам очень благодарна, сударыня.

– Речь идет не о вашей благодарности мне. Есть высший судия, и мы всем обязаны ему.

– Мне ли об этом не знать? – тихо промолвила девушка.

– Несведущим людям может показаться, что вы упорствуете в своем грехе.

– Те, кто знает мою историю, не могут так думать, сударыня.

– Однако они именно так и думают. Говорят, что вы ждете парусов Сатаны.

Сара встала и подошла к окну. Начинаясь лето, аромат чубушника и сирени сливался с пением черных дроздов. Бросив короткий взгляд на море, от которого ей приказывали отречься, она обернулась к хозяйке, неумолимо восседавшей в своем кресле, словно королева на троне.

– Вы хотите, чтобы я ушла от вас, сударыня?

Миссис Поултни внутренне содрогнулась. Прямота Сары еще раз потушила ее разгоравшуюся злобу. Этот голос, эти чары, к которым она так пристрастилась. Хуже того – она может лишиться процентов, которые нарастают на ее счету в небесных грессбухах. Тон ее смягчился.

– Я хочу, чтобы вы доказали, что вырвали из сердца этого... этого человека. Я знаю, что это так. Но вы должны это доказать.

– Как же мне это доказать?

– Гуляйте в других местах. Не выставьте напоказ свой позор. Хотя бы потому, что я вас об этом прошу.

Сара стояла, опустив голову, и молчала. Потом она посмотрела в глаза миссис Поултни и впервые после своего появления в доме еле заметно улыбнулась.

– Я выполню ваше желание, сударыня.

На языке шахмат это можно было назвать хитроумной жертвой, ибо миссис Поултни тут же великодушно объявила, что вовсе не хочет совершенно лишать Сару целебного морского воздуха и что время от времени она может погулять у моря, но только не обязательно же всегда у моря – и, пожалуйста, не стойте и не смотрите в одну точку. Короче говоря, это была сделка между двумя одержимыми. Предложение Сары отказаться от места заставило обеих, каждую по-своему, посмотреть в глаза правде.

Сара выполнила то, что от нее требовали, по крайней мере в части, касавшейся маршрута ее прогулок. Теперь она очень редко ходила на Кобб, но если ей все же случалось там оказаться, она порой позволяла себе «стоять и смотреть в одну точку», как в описанный нами день. В конце концов, окрестности Лайма изобилуют тропами, и редко с какой не открывается вид на море. Если бы помыслы Сары сосредоточивались только на этом, ей достаточно было гулять по лужайкам Мальборо-хауса.

Итак, в течение многих месяцев доносище приходилось нелегко. Она не пропустила ни единого случая, когда Сара стояла и смотрела в одну точку, но теперь они были редки, а Сара к этому времени обрела в глазах миссис Поултни такой ореол страдания, который избавлял ее от сколько-нибудь серьезных нареканий. И ведь, в конце концов, как нередко напоминали друг другу шпионка и ее госпожа, несчастная Трагедия безумна.

Вы, разумеется, угадали правду: если она и была безумна, то в гораздо меньшей степени, чем это казалось... или, во всяком случае, не в том смысле, как это все считали. Она выставляла напоказ свой грех с определенной целью, а люди, которые поставили себе цель, знают, когда она уже близка, и они могут на некоторое время позволить себе передышку.

Но в один прекрасный день, недели за две до начала моего рассказа, экономка явилась к миссис Поултни с таким видом, словно ей предстояло объявить хозяйке о смерти ее ближайшей подруги. От волнения у нее даже со скрипом расpirало корсет.

– Я должна сообщить вам неприятную новость, сударыня.

Миссис Поултни привыкла к этой фразе, как рыбак к штормовому сигналу, но не нарушила установившуюся форму.

– Надеюсь, речь идет не о мисс Вудраф?

– О, если б это было так, сударыня. – Экономка вперила в госпожу мрачный взгляд, словно желая убедиться, что повергла ее в полнейшее смятение. – Но боюсь, что долг велит мне сказать вам об этом.

– Никогда не следует бояться того, что велит нам долг.

– Разумеется, сударыня.

Однако губы ее все еще были плотно сжаты, и если бы при сем присутствовал кто-то третий, он наверняка задался бы вопросом, какое же чудовищное открытие сейчас воспоследует. Например, что Сара, раздевшись донага, плясала в алтаре приходской церкви – никак не меньше.

– Она взяла себе привычку гулять по Вэрской пустоши, сударыня.

Только и всего! Миссис Поултни, однако, так не считала. С ее ртом произошло нечто небывалое. У нее отвисла челюсть.

10

*Ресницы один только раз подняла —
И робко и нежно зарделась, со мной
Нечаянно встретясь глазами...*

А. Теннисон. Мод (1855)

*...Зеленые ущелья среди романтических скал, где роскошные
лесные и фруктовые деревья свидетельствуют, что не одно поколение
ушло в небытие с тех пор, как первый горный обвал расчистил для них
место, где глазу открывается такая изумительная, такая чарующая
картина, которая вполне может затмить подобные ей картины
прославленного острова Уайт...*

Джейн Остин. Убеждение

На шесть миль к западу от Лайм-Риджиса в сторону Эксмута простирается один из самых удивительных приморских пейзажей Южной Англии. С воздуха он ничем не примечателен; заметно лишь, что если на остальной части побережья поля доходят до самого края утесов, то здесь они кончаются почти за милю от них. Обработанные участки зелеными и красно-бурыми клетками в веселом беспорядке врываются в темный каскад деревьев и кустов. Крыш нигде нет. Если лететь на небольшой высоте, видно, что местность здесь очень обрывиста, изрезана глубокими ущельями, а среди пышной листвы, подобно стенам рухнувших замков, громоздятся причудливые башни и утесы из мела и кремня. С воздуха... однако если вы придете сюда пешком, эта на первый взгляд незначительная чаща странным образом примет колоссальные размеры. Люди блуждали здесь часами, а когда им показывали по карте, где они заблудились, не могли понять, почему так велико было охватившее их чувство одиночества, а в дурную погоду – и отчаяния.

Береговые оползневые террасы представляют собой очень крутой склон длиной в одну милю, возникший вследствие эрозии отвесных древних скал. Плоские участки здесь так же редки, как посетители. Но самая эта крутизна как бы поворачивает террасы и все, что на них растет, прямо к солнцу и, в сочетании с водой из многочисленных ручьев, которые и вызвали эрозию, придает местности ее ботаническое своеобразие: здесь можно встретить каменный дуб, дикое земляничное дерево и другие редкие для Англии породы деревьев; гигантские ясени и буки; зеленые бразильские ущелья, густо увитые плющом и лианами дикого ломоноса; папоротник-орляк, достигающий семи-восьми футов в высоту, цветы, которые распускаются на месяц раньше, чем во всей округе. Летом эти места больше всех других в стране напоминают тропические джунгли. Как всякая земля, которую никогда не населяли и не обрабатывали люди, она полна своих тайн, своих теней и опасностей – опасностей с геологической точки зрения, в прямом смысле слова, ибо здесь попадаются трещины и предательские обрывы, грозящие страшной бедой, да еще в таких местах, где человек, сломавший ногу, может хоть целую неделю звать на помощь, и никто его не услышит. Как ни странно, сто лет назад здесь было менее безлюдно, чем сегодня. Сейчас на террасах нет ни единого дома; в 1867 году их было довольно много, и в них ютились лесничие, лесорубы и свинопасы. Косулям, присутствие которых верный признак того, что люди сюда не заглядывают, в ту пору жилось далеко не так спокойно. Ныне террасы вернулись в состояние первобытной дикости. Стены домов рухнули и превратились в заросшие плющом развалины, старые тропинки исчезли; поблизости нет ни одного автомобильного шоссе, а единственная пересекающая эти места дорога часто бывает

непроходима. И это закреплено парламентским актом – теперь здесь национальный заповедник. Не все еще принесено в жертву соображениям практической выгоды.

Именно сюда, в эти английские сады Эдема, и попал Чарльз 29 марта 1867 года, взобравшись вверх по тропе с берега бухты Пинхей; это и было то самое место, восточная часть которого называлась Вэрской пустошью.

Утолив жажду и мокрым платком освежив лицо, Чарльз начал глубокомысленно обозревать окрестности. По крайней мере, он попытался глубокомысленно их обозреть; но небольшой зеленый склон, на котором он сидел, открывшаяся его взору панорама, звуки, запахи, нетронутая дикая растительность и весеннее изобилие природы привели его в антинаучное состояние.

В траве золотились звездочки первоцветов и чистотела, лужайку белоснежной свадебной пеленой окаймлял цветущий терн, а там, где победоносно вздымала молодые зеленые побеги бузина, затенявшая мшистые берега ручья, из которого он только что напился, густо разрослись адокса и кислица – самые нежные цветы английской весны. Выше по склону белели головки ветрениц, а за ними тянулись темно-зеленые перья гадючьего лука. Где-то вдали в ветвях высокого дерева стучал дятел, над головою Чарльза тихонько посвистывали снегири, и во всех кустах и кронах пели только что прилетевшие пеночки-веснички. Обернувшись назад, он увидел синеву моря, которое теперь плескалось далеко внизу, и все полукружье залива Лайм, окаймленное грядой утесов, – уходя вдаль, они все уменьшались и наконец сливались с изогнутой, как длинная желтая сабля, Чезилской косой, чья дальняя оконечность касалась Портленд-Билла, этого своеобразного английского Гибралтара, что вклинился узкой серой тенью между лазурью неба и лазурью моря.

Такие картины удавались художникам одной-единственной эпохи – эпохи Возрождения; по такой земле ступают персонажи Боттичелли^[64], такой воздух полнится песнями Ронсара^[65]. Независимо от сознательных целей и намерений этой культурной революции, ее жестоких деяний и ошибок, Возрождение по существу своему было просто-напросто весенним концом одной из самых суровых зим цивилизации. Оно покончило с цепями, барьерами, границами. Его единственный девиз гласил: все сущее прекрасно. Короче говоря, Возрождение было всем тем, чем век Чарльза не был; но не подумайте, что стоявший над морем Чарльз этого не знал. Правда, пытаясь объяснить охватившее его смутное ощущение нездоровья, несостоятельности, ограниченности, он обращался к более близкому прошлому – к Руссо^[66], к младенческим мифам о Золотом Веке и Благородном Дикаре. Иными словами, пытался объяснить неспособность своего века понять природу невозможностью вернуться обратно в легенду. Он говорил себе, что слишком избалован, слишком испорчен цивилизацией, чтобы вновь слиться с природой, и это наполняло его печалью, приятной, сладостно-горькой печалью. Ведь он был викторианцем. Едва ли он мог увидеть то, что сами мы – причем располагая гораздо более широкими познаниями и уроками философии экзистенциализма – только-только начинаем понимать, а именно: что желание удержать и желание наслаждаться взаиморазрушающи. Ему следовало бы сказать себе: «Я обладаю этим сейчас, и потому я счастлив»; вместо этого он – совсем по-викториански – говорил: «Я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно».

Наука в конце концов победила, и Чарльз принялся искать своих иглокожих в кремневых отложениях вдоль берега ручья. Он нашел красивый обломок окаменелого гребешка, но морские ежи упорно от него ускользали. Медленно продвигаясь между деревьями к западу, он то и дело наклонялся, внимательно изучал землю у себя под ногами, делал еще несколько шагов и продолжал в том же духе. Время от времени он переворачивал палкой подходящий с виду обломок кремня. Но ему не везло. Прошел час, и долг перед Эрнестиной начал перевешивать его пристрастие к иглокожим. Он посмотрел на часы, подавил проклятие и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Поднявшись еще немного вверх в лучах заходящего солнца, которое было ему в спину, он вышел на тропинку и повернул к Лайму. Тропа уходила вверх, изгибаясь вдоль заросшей плющом каменной стены, и вдруг, со свойственным тропинкам коварством,

ни с того ни с сего разветвилась. Не зная как следует местности, Чарльз заколебался, потом прошел еще с полсотни ярдов по нижней тропе, которая вилась по дну поперечной лощины, уже успевшей погрузиться в густую тень. Вскоре, однако, задача разрешилась сама собой – еще одна тропа, неожиданно возникнув справа от него, повернула обратно к морю, вверх по небольшому крутому склону. Чарльз решил, что сверху будет легче ориентироваться, и, продравшись сквозь заросли куманики – по этой тропинке почти никогда не ходили, – поднялся на маленькое зеленое плато.

Перед ним открылась прелестная альпийская лужайка. Два-три белых кроличьих хвостика объяснили, почему трава здесь такая короткая.

Чарльз остановился на солнце. Лужайку испещряли звездочки лядвенца и очанки; ярко зеленели дерновинки душицы, готовой вот-вот зацвести. Он подошел ближе к краю плато.

И тут у себя под ногами он увидел человеческую фигуру.

В первое мгновение он в ужасе подумал, что наткнулся на труп. Но это была спящая женщина. Она выбрала очень странное место – широкий, поросший травой наклонный уступ футов на пять ниже уровня плато, и Чарльз увидел ее только потому, что подошел к самому его краю. Меловые стены позади этого естественного балкона, самой широкой своей стороной обращенного к юго-западу, как бы вбирали в себя солнечные лучи, превращая его в своеобразную солнечную западню. Мало кому, однако, пришлось бы в голову ею воспользоваться. Наружный край уступа переходил в крутой обрыв высотой в тридцать-сорок футов, густо оплетенный колючими ветвями куманики. Ниже круто обрывался к берегу почти отвесный утес.

Чарльз инстинктивно отпрянул, боясь, как бы женщина его не заметила. Кто она – разобрать было невозможно. Он стоял в полной растерянности, устремив невидящий взгляд на открывавшийся отсюда великолепный пейзаж. Он помедлил, хотел было уйти, но любопытство снова толкнуло его вперед.

Девушка лежала навзничь, забывшись глубоким сном. Пальто ее распахнулось, открыв платье из синего коленкора, суровая простота которого смягчалась лишь узеньким белым воротничком вокруг шеи. Лицо спящей было повернуто так, что Чарльз его не видел; правая рука отброшена назад и по-детски согнута в локте. Рядом рассыпался по траве пучок ветрениц. В этой позе было что-то необыкновенно нежное и в то же время сексуальное; она пробудила в душе Чарльза смутный отзвук одного мгновенья, пережитого им в Париже. Другая девушка, имени которой он теперь не мог вспомнить, а быть может, никогда и не знал, однажды на заре так же сладко спала в комнате с видом на Сену.

Продвигаясь вдоль изогнутого края плато, он нашел место, откуда ему лучше видно было лицо спящей, и лишь тогда понял, чье уединение он нарушил. Это была любовница французского лейтенанта. Несколько прядей выбились из прически и наполовину закрывали ей щеку. На Коббе ее волосы показались ему темно-каштановыми; теперь он увидел, что они отливают теплой бронзой и лишены блеска от обязательной в те дни помады. Кожа под ними казалась в этом освещении почти красновато-коричневой, словно эта девушка больше заботилась о здоровье, чем о модной бледности и томности. Четкий рисунок носа, густые брови, рот... но рта ему не было видно. Его почему-то раздражало, что он видит ее вверх ногами, но местность не позволяла ему выбрать более подходящий ракурс.

Так он стоял, не в силах ни двинуться с места, ни отвести взгляд, замороженный этой неожиданной встречей и охваченный столь же странным чувством – не сексуальным, а братским, быть может, даже отцовским, уверенностью, что эта девушка чиста, что ее незаслуженно изгнали из общества, и это чувство позволило ему ощутить всю глубину ее одиночества. В этот век, когда женщины были робкими, малоподвижными, неспособными к длительным физическим усилиям, что еще, кроме отчаяния, могло погнать ее в такую глушь?

В конце концов он подошел к самому краю вала, остановился прямо над ее лицом, и тут увидел, что от печали, так поразившей его при первой встрече, в нем не осталось и следа. Во

сне лицо было мягким и нежным; на губах, казалось, играла даже какая-то тень улыбки. И в ту самую минуту, когда он, изогнувшись, наклонился, она проснулась.

Она тотчас посмотрела вверх – так быстро, что его попытка скрыться оказалась напрасной. Его заметили, и он был слишком хорошо воспитан, чтобы это отрицать. Поэтому, когда Сара вскочила на ноги, запахнула пальто и удивленно посмотрела на него со своего уступа, он приподнял шляпу и поклонился. Она ничего не сказала, но устремила на него взгляд, полный испуга, замешательства и отчасти, может быть, стыда. Глаза у нее были красивые и очень темные.

Так они простояли несколько секунд, скованные взаимным непониманием. Она казалась ему совсем маленькой, когда, скрытая ниже талии, стояла у него под ногами и сжимала рукой воротник, словно при малейшем его движении готова была повернуться и обратиться в бегство. Наконец он вновь обрел чувство приличия.

– Тысяча извинений. Я никак не ожидал вас тут увидеть.

С этими словами он повернулся и пошел прочь. Не оглядываясь, он опять спустился на тропу, с которой сошел, добрался до развилки и с удивлением сообразил, что у него не хватило духу спросить у нее, в какую сторону идти. Он секунду помедлил, надеясь, что она идет вслед за ним. Но она не появлялась. Вскоре он решительно двинулся по верхней тропе.

Чарльз не знал, что в эти короткие мгновенья, когда он замешкался над полным ожидания морем, в этой светлой прозрачной предвечерней тишине, нарушаемой одним лишь спокойным плеском волн, сбилась с пути вся Викторианская эпоха. И я вовсе не хочу этим сказать, что он свернул не на ту тропу.

11

*...Долг – приличный соблюдете,
А иначе – смертный грех!
Чаще в церковь езди: там уж,
Коль покаешься, простят;
Попляши сезон – и замуж:
Папа с мамой так велят.*

Артур Хью Клаф. Долг (1841)^[67]

*Чего он заявился к нам?
Я за него гроша не дам!
Ишь, пустобрех! Прихорошится
Да корчит франта – эка птица!
А видно – дурень: мать с отцом
Не научили, что почем.*

*Уильям Барнс. Из стихотворений, написанных на дорсетском
наречии (1869)^[68]*

Приблизительно в то самое время, когда произошла эта встреча, Эрнестина беспокойно поднялась с постели и взяла с туалетного столика черный сафьяновый дневник. Надув губы, она первым делом открыла свою утреннюю запись, отнюдь не отличавшуюся красотами стиля: «Написала письмо маме. Не виделась с милым Чарльзом. Не выходила, хотя погода прекрасная. Не чувствую себя счастливой».

Бедняжка, которую в этот день преследовали всевозможные «не», могла выместить свое дурное настроение на одной лишь тете Трэнтер. Даже присланные Чарльзом бледно-желтые нарциссы и жонкилы, аромат которых она теперь вдыхала, вначале вызвали у нее только досаду. Дом тетки был невелик, и Эрнестина слышала, как Сэм постучался в парадную дверь, как эта испорченная и непочтительная Мэри ему открыла, слышала приглушенные голоса, потом весьма отчетливый подавленный смешок горничной и стук захлопнувшейся двери. В голове Эрнестины мелькнуло мерзкое, отвратительное подозрение, что приходил Чарльз, что он любезничал с горничной, и это пробудило в ней одно из самых глубоких опасений на его счет.

Она знала, что он жил в Париже и в Лиссабоне и вообще много путешествовал; знала, что он на одиннадцать лет старше ее и что он нравится женщинам. На ее осторожные шуточные вопросы касательно его прошлых побед он всегда отвечал столь же осторожно и шуточно, но в том-то и была загвоздка. Эрнестине казалось, будто он что-то скрывает – трагическую французскую графиню или страстную португальскую маркизу. Она никогда не позволила бы себе вообразить какую-нибудь парижскую гризетку или волоокую служанку из гостиницы в Синтре, что было бы гораздо ближе к истине. Но в известном смысле вопрос о том, спал ли он с другими женщинами, беспокоил ее меньше, чем он мог бы беспокоить современную девушку. Разумеется, стоило подобным греховным предположениям зародиться в мозгу Эрнестины, как она тотчас же изрекала свое категорическое «не смей!», но ревновала она, в сущности, сердце Чарльза. Мысль о том, чтобы делить его с кем-либо в прошлом или в настоящем, была для нее нестерпима. Эрнестина понятия не имела о полезной бритве Оккама^[69]. Поэтому, когда она пребывала в мрачности, простая истина, что Чарльз никогда не был по-настоящему влюб-

лен, превращалась в неопровержимое доказательство его былой страстной влюбленности. Его внешнюю невозмутимость она принимала за жуткую тишину поля недавних сражений, за некое Ватерлоо спустя месяц после битвы, а не за местность, лишенную всякой истории, чем она в действительности была.

Когда парадная дверь захлопнулась, Эрнестина позволила чувству собственного достоинства ровно на полторы минуты взять верх, после чего ее хрупкая ручка потянулась к позолоченному шнуру возле постели и властно его дернула. Снизу, из расположенной в полуподвале кухни, донесся приятно настойчивый звон, затем послышались шаги, в дверь постучали, и на пороге показалась Мэри с вазой, из которой буквально бил фонтан весенних цветов. Горничная подошла и остановилась у постели. На лице ее, наполовину скрытом цветами, играла такая улыбка, что ни один мужчина не смог бы на нее рассердиться – и потому Эрнестина при виде этого незваного явления Флоры, напротив, сердито и укоризненно нахмурилась.

Из трех молодых женщин, которые проходят по этим страницам, Мэри, по-моему, самая хорошенькая. В ней было бесконечно больше жизни, бесконечно меньше себялюбия и вдобавок еще физическое обаяние: изысканно чистое, хотя и румяное лицо, золотистые волосы, прелестные, широко расставленные серо-голубые глаза – глаза, которые неизменно будили веселый отклик в душе любого мужчины и столь же весело на него отвечали. Они искрились так же неукротимо, как пенится первосортное шампанское, не оставляя при этом неприятного осадка. Даже уродливая викторианская одежда, которую ей так часто приходилось носить, не могла скрыть всей прелести ее стройной, налитой фигурки. Правда, слово «налитая» звучит как-то обидно. Я только что вспоминал Ронсара, так вот, ее фигура требовала определения из его словаря – слова, эквивалента которому в английском языке нет, а именно: *rondelet* – соблазнительная округлость не в ущерб очаровательной стройности. Праправнучка Мэри, которой в том месяце, когда я это пишу, исполняется двадцать два года, очень похожа на свою прародительницу, и лицо ее знакомо всему миру, потому что она – одна из самых знаменитых молодых актрис английского кино.

Боюсь, однако, что для 1867 года лицо это не очень подходило. Например, оно решительно не подошло миссис Поултни, которая познакомилась с ним тремя годами ранее. Мэри была племянницей одного из родственников миссис Фэрли, которая уговорила миссис Поултни определить ее ученицей в противную кухню. Однако Мэри и Мальборо-хаус сочетались так же, как гробница со щеглом, и когда миссис Поултни в один прекрасный день угрюмо обозревала свои владения из окна верхнего этажа и перед нею открылась отвратительная картина – один из младших конюхов пытался сорвать поцелуй и не встретил должного сопротивления, – щегла тотчас выпустили на свободу, после чего он залетел к миссис Трэнтер, хотя миссис Поултни со всей серьезностью разъяснила этой даме, сколь безрассудно поощрять такое явное распутство.

На Брод-стрит Мэри была счастлива. Миссис Трэнтер любила хорошеньких девушек, а хорошеньких хохотушек особенно. Конечно, Эрнестина была ее племянницей, и о ней она заботилась больше, но Эрнестину она видела лишь раз или два в год, тогда как Мэри – каждый день. За живой кокетливой внешностью Мэри скрывалась искренняя доброта, и она, не скупясь, воздавала за тепло, которое получала. Эрнестине осталась неизвестной страшная тайна дома на Брод-стрит: в кухаркины свободные дни миссис Трэнтер обедала на кухне вдвоем с Мэри, и это были отнюдь не самые несчастливые часы в жизни их обеих.

У Мэри были свои недостатки – например, она немножко завидовала Эрнестине. И не только потому, что с приездом юной леди из Лондона она сразу лишалась положения любимицы, но еще и потому, что юная леди из Лондона привозила полные сундуки наимоднейших лондонских и парижских туалетов, что отнюдь не внушало восторга служанке, имеющей всего-навсего три платья, из которых ни одно ей по-настоящему не нравилось, хотя лучшее из них могло не нравиться ей только потому, что досталось от юной столичной принцессы. Она также считала, что Чарльз очень красив и притом слишком хорош, чтобы достаться в мужья худо-

сочной особе вроде Эрнестины. Вот почему Чарльзу так часто удавалось полюбоваться этими серо-голубыми глазками, когда Мэри открывала ему дверь или встречала его на улице. Увы, надо признаться, что эта девица нарочно старалась уходить и приходить одновременно с Чарльзом, и всякий раз, как он здоровался с нею на улице, она мысленно показывала нос Эрнестине; от нее не укрылось, зачем племянница миссис Трэнтер сразу после его ухода поспешно мчится наверх. Как все субретки, она осмеливалась думать о том, о чем не смела думать госпожа, и отлично это знала.

Ехидно позволив своему здоровью и жизнерадостности произвести должное впечатление на больную, Мэри поставила цветы на комод возле кровати.

– От мистера Чарльза, мисс Тина. Велели кланяться.

– Поставь на туалетный столик. Я не люблю, когда цветы стоят слишком близко.

Мэри послушно переставила букет и принялась непослушно его переделывать, после чего с улыбкой обернулась к полной подозрений Эрнестине.

– Он их сам принес?

– Нет, мисс.

– А где мистер Чарльз?

– Не знаю, мисс. Я их не спрашивала.

Однако губы ее были так крепко сжаты, словно она хотела прыснуть.

– Но я слышала, что ты разговаривала с каким-то мужчиной.

– Да, мисс.

– О чем?

– Я только спросила, сколько время, мисс.

– И поэтому ты смеялась?

– Да, мисс. Он так смешно разговаривает, мисс.

Сэм, явившийся к парадным дверям, был ничуть не похож на угрюмого возмущенного молодого человека, который незадолго до того правил бритву. Он всунул в руки озорнице Мэри роскошный букет.

– Для красивой молодой леди наверху. – Затем ловко поставил ногу так, чтобы дверь не могла захлопнуться, и столь же ловко вытащил из-за спины маленький пучок крокусов, который был у него в другой руке, а освободившейся рукой снял свой модный, почти лишенный полей цилиндр. – А это для другой, что покрасивше.

Мэри залилась пунцовым румянцем; давление двери на ногу Сэма таинственным образом ослабло. Он смотрел, как она нюхает желтые цветы – не по правилам хорошего тона, а по-настоящему, так что на ее очаровательном дерзком носике появилось крошечное оранжевое пятнышко.

– Мешок с сажой когда доставить прикажете? – (Мэри выжидательно закусил губу.) – Только с условием. Плата вперед.

– А почем нынче сажа?

Нахал дерзко оглядел свою жертву, словно прикидывая, сколько бы запросить, потом приложил палец к губам и весьма недвусмысленно подмигнул. Именно это и вызвало упомянутый выше сдавленный смешок и стук захлопнувшейся двери.

Эрнестина бросила на Мэри взгляд, достойный самой миссис Поултни.

– Пожалуйста, не забывай, что он из Лондона.

– Да, мисс.

– Мистер Смитсон уже говорил мне о нем. Этот человек воображает себя Дон Жуаном.

– А это что такое будет, мисс Тина?

Жажда дальнейших разъяснений, выразившаяся на лице Мэри, сильно раздосадовала Эрнестину.

– Не важно. Но если он начнет с тобой заигрывать, ты сразу скажешь мне. А теперь принеси ячменного отвара. И впредь води себя скромнее.

В глазах Мэри сверкнул огонек, весьма смахивающий на дерзкий вызов. Но она опустила глаза и голову с кружевной наколкой, еле заметно присела и вышла из комнаты. Три лестничных марша вниз и столько же вверх – мысль о них весьма утешила Эрнестину, у которой не было ни малейшего желания пить полезный, но безвкусный ячменный отвар тети Трэнтер.

Однако в этой словесной перепалке Мэри некоторым образом одержала победу, ибо Эрнестина, которая по натуре была отнюдь не домашним тираном, а просто скверной, избалованной девчонкой, вспомнила, что скоро ей придется перестать разыгрывать из себя госпожу и сделаться таковой всерьез. Разумеется, прекрасно иметь собственный дом, выйти из-под опеки родителей... но все говорят, что слуги доставляют столько хлопот. Все говорят, что они уже не те, что были прежде. Словом, от них одни неприятности. Возможно, озабоченность и досада Эрнестины не слишком отличались от чувств, охвативших Чарльза, когда он, обливаясь потом и спотыкаясь, брел по берегу моря. Жизнь – исправная машина, думать иначе – ересь, однако крест свой приходится нести, и никуда от этого не уйдешь.

Чтобы отогнать мрачные предчувствия, не покинувшие ее и после обеда, Эрнестина взяла дневник, уселась в постели и опять раскрыла страницы, между которыми лежала веточка жасмина.

К середине века в Лондоне началось плутократическое расслоение общества. Ничто, разумеется, не заменило голубую кровь, но постепенно все сошлось на том, что хорошие деньги и хорошая голова могут искусственно создать вполне сносный дубликат приемлемого общественного положения. Дизраэли составлял для своего времени не исключение, а норму. Дед Эрнестины в молодости и был, возможно, всего-навсего зажиточным суконщиком в Стоук-Ньюингтоне, но умер он суконщиком очень богатым и – что гораздо важнее – перебрался в центральную часть Лондона, основал один из крупнейших магазинов Вест-Энда и распространил свои деловые операции на многие другие отрасли, кроме торговли сукном. Отец Эрнестины, правда, дал ей всего лишь то, что получил сам, – наилучшее образование, какое можно было купить за деньги. Во всем, кроме генеалогии, он был безукоризненным джентльменом и осмотрительно женился на девушке лишь немногим более высокого происхождения – дочери одного из преуспевающих стряпчих лондонского Сити, среди не слишком отдаленных предков которого числился не более и не менее, как генеральный прокурор. Поэтому беспокойство Эрнестины насчет ее положения в обществе было даже по викторианским меркам весьма надуманным. А Чарльза оно и вовсе никогда не смущало.

– Вы только подумайте, – сказал он ей однажды – сколь постыдно плебейски звучит фамилия Смитсон.

– Ах, конечно, если бы вас звали лорд Брабазон Вавасур Вир де Вир^[70], я бы любила вас гораздо больше!

Однако за этой самоиронией таился страх.

Чарльз познакомился с Эрнестиной в ноябре предыдущего года в доме некой светской дамы, которая присмотрела его для одной жеманной девицы из своего выводка. К несчастью всех этих молодых леди, родители имели обыкновение перед каждым званым вечером пичкать их всевозможными инструкциями. Их роковая ошибка состояла в том, что они пытались уверить Чарльза, будто безумно увлекаются палеонтологией – он непременно должен дать им список наиболее интересных книг по этому предмету, – тогда как Эрнестина деликатно, но весьма решительно отказалась принимать его всерьез. Она обещала присылать ему все интересные экземпляры, какие только найдутся у нее в ведерке для угля, а в другой раз заметила, что считает его большим лентяем. Но почему же? А потому, что стоит ему только войти в любую лондонскую гостиную, и он найдет множество интересующих его образов.

Обоим молодым людям этот вечер не сулил ничего, кроме привычной скуки, но, вернувшись домой, оба пришли к заключению, что ошибались.

Они нашли друг в друге незаурядный ум, легкость в обращении и приятную сдержанность. Эрнестина дала понять, что «этот мистер Смитсон» выгодно отличается от множества скучных молодых людей, представленных ей на рассмотрение в текущем сезоне. Мать ее осторожно навела справки и посоветовалась с мужем, который занялся этим серьезнее: порога гостиной дома, выходявшего окнами на Гайд-парк, никогда не переступал ни один молодой человек, который не подвергся такой же строгой проверке, какой подвергает физиков-атомщиков любая современная служба безопасности. Чарльз блестяще выдержал это тайное испытание.

Эрнестина между тем поняла, в чем состоит ошибка ее соперниц: сердце Чарльза никогда не покорит особа, которую будут ему навязывать. Поэтому, когда Чарльз стал завсегдатаем вечеров и журфиксов ее матери, он, к своему удивлению, не нашел там ни единого признака обычных матримониальных капканов, вроде прозрачных намеков мамыши, что ее славная девочка обожает детей или «втайне не может дождаться конца сезона» (считалось, что Чарльз изберет своей постоянной резиденцией Винзиэтт, как только камень преткновения в лице его дяди выполнит свой долг), равно как и еще более прозрачных намеков папашы насчет размеров состояния, которое «моя драгоценная дочурка» получит в приданое. Последние, впрочем, были совершенно излишни – дом в Гайд-парке сделал бы честь любому герцогу, а отсутствие братьев и сестер говорило больше, чем тысяча банковских отчетов.

Но и Эрнестина тоже старалась не заходить слишком далеко, хотя она очень скоро твердо вознамерилась, как это свойственно лишь избалованным единственным дочкам, во что бы то ни стало завладеть Чарльзом. Она позаботилась о том, чтобы в доме постоянно бывали другие интересные молодые люди, и не выделяла желанную добычу какими-либо особенными милостями или знаками внимания. Она взяла себе за правило никогда не принимать его всерьез; не говоря об этом прямо, она, однако же, дала ему понять, что он ей нравится, потому что с ним весело, но она, конечно, знает, что он никогда не женится. Наконец в январе наступил вечер, когда Эрнестина решила посеять роковое семя.

Она заметила, что Чарльз стоит в одиночестве, а на противоположном конце комнаты сидит пожилая вдова – нечто вроде мейфэрского^[71] эквивалента миссис Поултни. Не сомневаясь, что Чарльз столько же нуждается в ее обществе, сколько здоровый ребенок в касторке, Эрнестина подошла к нему и спросила:

– Не хотите ли побеседовать с леди Фэйрвезер?

– Я предпочел бы побеседовать с вами.

– Я вас представляю. И тогда вы сможете получить свидетельство очевидца о событиях ранней меловой эры.

Он улыбнулся.

– Меловой называется не эра, а период.

– Не все ли равно? Эта дама достаточно стара. А я знаю, как вам надоело все, что происходит последние девяносто миллионов лет. Пойдемте.

И они направились в противоположный конец комнаты, но на полдороге к ранней меловой даме Эрнестина остановилась, коснулась его руки и заглянула ему в глаза.

– Если вы решили стать нудным старым холостяком, мистер Смитсон, вам надо хорошенько отрепетировать свою роль.

Не успел он ответить, как она уже двинулась дальше, и на первый взгляд могло показаться, что его просто продолжают дразнить. Однако в глазах ее на какую-то долю секунды мелькнуло нечто весьма похожее на предложение – по-своему столь же недвусмысленное, как предложения, которые в Лондоне тех времен исходили от женщин, стоявших в дверях домов вокруг Хеймаркета.

Эрнестина понятия не имела, что затронула болезненное место в глубине души Чарльза – с некоторых пор ему все больше стало казаться, что он уподобляется своему дядюшке, что жизнь проходит мимо, что он чересчур привередлив, ленив, эгоистичен... и еще хуже того. Он уже два года не ездил за границу и теперь понял, что прежние путешествия восполняли ему отсутствие жены. Они отвлекали его от домашних забот и, кроме того, давали возможность брать к себе в постель случайных женщин – удовольствие, которое он строго запретил себе в Англии, быть может, вспоминая ту черную ночь души, которой кончился первый его опыт такого рода.

Путешествия его больше не привлекали, но женщины привлекали, и потому он пребывал в состоянии крайней сексуальной неудовлетворенности, ибо моральная чистоплотность не позволяла ему прибегнуть к простейшему средству – съездить на неделю в Париж или Остенде^[72]. Он никогда не позволил бы себе отправиться в путешествие под влиянием подобных соображений. Всю следующую неделю он провел в раздумьях. Затем, в одно прекрасное утро, проснулся.

Все оказалось очень просто. Он любит Эрнестину. Он представил себе удовольствие, с каким проснется в такое же точно холодное серое утро, когда земля припорошена снегом, и увидит, что рядом спит это милое, застенчивое, безмятежное существо – о господи! (мысль, от которой он застыл в изумлении) – и спит вполне законно в глазах Бога и людей. Через несколько минут он перепугал заспанного Сэма, который припелся снизу в ответ на его настойчивые звонки, объявив ему: «Сэм! Я абсолютный, стопроцентный, прости меня господи, законченный идиот!»

Дня через два «законченный идиот» имел беседу с отцом Эрнестины. Беседа была краткой и весьма плодотворной. Он спустился в гостиную, где, трепеща от волнения, сидела мать Эрнестины. Не в силах вымолвить ни слова, она неуверенно указала в сторону зимнего сада. Чарльз отворил белые двери и остановился в струе горячего благоуханного воздуха. Эрнестину ему пришлось искать, но в конце концов он нашел ее в дальнем углу, за беседкой из стефанотиса. Она взглянула на него, потом поспешно отвела и опустила глаза. В руках у нее были серебряные ножницы, и она делала вид, будто срезает засохшие цветы этого пахучего растения. Чарльз остановился у нее за спиной и откашлялся.

– Я пришел с вами проститься. – Он притворился, что не замечает брошенного на него отчаянного взгляда, прибегнув к простейшему приему, то есть уставившись в землю. – Я решил навсегда покинуть Англию. Остаток жизни я проведу в путешествиях. Чем еще может скрасить свои дни нудный старый холостяк?

Он намеревался продолжать в том же духе, но вдруг увидел, что Эрнестина опустила голову и с такой силой вцепилась в край стола, что у нее побелели суставы пальцев. Он знал, что при обычных обстоятельствах она бы сразу догадалась, что он ее дразнит, и ему стало ясно, что ее недогадливость вызвана глубоким чувством, которое передалось и ему.

– Но если бы я знал, что кто-то интересуется мною настолько, чтоб разделить...

Тут он остановился, потому что она обернулась и подняла на него полные слез глаза. Их руки встретились, и он привлек ее к себе. Они не поцеловались. Они были не в силах. Можно ли целых двадцать лет безжалостно держать взаперти здоровый половой инстинкт, а когда двери тюрьмы распахнулись, удивляться, что арестант разразился рыданиями?

Через несколько минут Чарльз вел успевшую немножко прийти в себя Тину по проходу между тепличными растениями к дверям в комнаты. Возле куста жасмина он остановился, сорвал веточку и шутливо подержал у нее над головой.

– Хоть это и не омела, но, пожалуй, сойдет, как выдумаете?

И тут они поцеловались – как дети, такими же целомудренно бесполовыми губами. Эрнестина опять заплакала; потом она вытерла глаза и позволила Чарльзу отвести себя в гостиную, где стояли ее родители. Слов не потребовалось. Эрнестина бросилась в открытые объятия матери, и слез теперь полилось вдвое больше. Мужчины между тем улыбались друг другу; один

– словно только что заключил чрезвычайно выгодную сделку; второй – словно он не совсем уверен, на какой планете очутился, но от всей души надеется, что туземцы встретят его дружелюбно.

12

В чем же заключается самоотчуждение труда?

Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не разворачивает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает, а когда он работает, он уже не у себя.

К. Маркс. Экономико-философские рукописи (1844)^[73]

Но был ли мой счастливый день

И впрямь безоблачен и ясен?

А. Теннисон. In Memoriam (1850)

Оставив позади мысли о таинственной незнакомке, Чарльз быстро зашагал вперед по Вэрскому лесу. Пройдя с милю, он наткнулся одновременно на прогалину между деревьями и на первый аванпост цивилизации. Это был длинный, крытый тростником дом, стоявший чуть пониже тропинки, по которой он шел. Его окружали два-три луга, сбегавшие к обрыву, и, выйдя из леса, Чарльз увидел возле дома человека, который криками выгонял коров из низкого хлева. Перед мысленным взором Чарльза возникло восхитительное виденье – чашка холодного молока. После двойной порции булочек он еще ничего не ел. Чай и ласка в доме миссис Трэнтер тихо манили его к себе, но чашка молока громко взывала... и притом до нее было рукой подать. Он спустился по крутому травянистому склону и постучал в заднюю дверь дома.

Дверь отворила маленькая круглая толстушка; ее пухлые руки были в мыльной пене. Конечно, милости просим, молока сколько угодно, пейте на здоровье. Как называется это место? Да никак, просто сыроварня. Чарльз последовал за женщиной в низкую пристройку с наклонным потолком, которая тянулась вдоль задней стены дома. Сумрачное прохладное помещение, вымощенное сланцевыми плитами, было пропитано густым запахом зреющего сыра. На стропилах открытого чердака, словно эскадрон резервных лун, стояли круглые сыры, а под ними, на деревянных подставках, выстроились большие медные котлы с кипяченым молоком, покрытым золотистым слоем пенки. Чарльз вспомнил, что уже слышал об этой ферме. Она славилась на всю округу маслом и сливками; говорила ему о ней миссис Трэнтер. Он назвал ее имя, и женщина, которая зачерпывала молоко из стоявшей у дверей маслобойки точь-в-точь в такую простую синюю с белым фарфоровую чашку, какую он себе представлял, с улыбкой на него посмотрела. Из чужака он сразу превратился в гостя.

Покуда он, стоя на траве за сыроварней, говорил с женщиной или, вернее, слушал, что говорила она, возвратился ее муж – лысый, заросший густой бородой человек с чрезвычайно мрачным выражением лица – ни дать ни взять пророк Иеремия^[74]. Он бросил суровый взгляд на жену. Она тотчас умолкла и вернулась к своим котлам. Сыровар оказался неразговорчивым, но когда Чарльз спросил его, сколько он должен за чашку превосходного молока, ответил весьма внятно. Пенни с изображением юной королевы Виктории, одно из тех, что до сих пор попадаются среди мелочи, хотя за последние сто лет с них стерлось все, кроме этой изящной головки, перекачивало из рук в руки.

Чарльз хотел было вернуться на верхнюю тропу. Однако не успел он сделать и шага, как из-за деревьев, что росли на окружавших ферму склонах, показалась фигура в черном. Это была та самая девушка. Взглянув сверху на обоих мужчин, она пошла дальше в сторону Лайма. Чарльз оглянулся на сыровара, который провожал ее испепеляющим взглядом. Чувство такта неведомо пророкам, и потому ничто не могло помешать ему высказать о ней свое мнение.

– Вы знаете эту даму?

– Как не знать.

– Она часто здесь бывает?

– Частенько. – Не сводя с нее взгляда, сыровар изрек: – Никакая она не дама. Шлюха французова, вот она кто.

Слова эти он произнес так, что Чарльз не сразу его понял. Он бросил сердитый взгляд на бородатого сыровара, который, как все методисты^[75], любил называть вещи своими именами, особенно когда речь шла о чужих грехах. Чарльзу он показался олицетворением всех ханжеских сплетен – и сплетников – города Лайма. Он мог бы многому о ней поверить, но что женщина с таким лицом – шлюха, не поверил бы никогда.

Вскоре он уже шагал по проселочной дороге в Лайм.

Две меловые колеи тянулись между живой изгородью, наполовину закрывавшей море, и лесом, уходящим вверх по склону. Впереди виднелась черная фигура; теперь девушка была в капоре. Она шла неторопливым, но ровным шагом, без всякого жеманства, как человек, привыкший ходить на большие расстояния. Чарльз двинулся вдогонку и вскоре подошел к ней вплотную.

Она, должно быть, услышала стук его башмаков по кремню, проступавшему из-под мела, но не обернулась. Он заметил, что пальто ей немного велико, а каблуки ботинок запачканы глиной. Он помедлил, но, вспомнив угрюмый взгляд фанатика-сыровара, вернулся к своему первоначальному рыцарскому намерению – показать несчастной женщине, что не все на свете дикари.

– Сударыня!

Оглянувшись, она увидела, что он стоит с непокрытой головой и улыбается, и хотя в эту минуту на лице ее было написано всего лишь удивление, оно опять произвело на него какое-то необыкновенное действие. Казалось, всякий раз, взглядывая на ее лицо, он не верил своим глазам и потому должен был взглянуть на него снова. Оно как бы и притягивало, и отталкивало его от себя, словно она, как фигура из сна, одновременно стояла на месте и уходила вдаль.

– Я должен дважды перед вами извиниться. Вчера я еще не знал, что вы секретарша миссис Поултни. Боюсь, что я крайне неучтиво с вами разговаривал.

Она смотрела в землю.

– Ничего, сэр.

– А теперь, когда я... вам могло показаться... Я испугался, что вам стало дурно.

Все еще не поднимая глаз, она наклонила голову и повернулась, чтобы идти дальше.

– Позвольте проводить вас. Ведь нам, кажется, по пути?

Она остановилась, но не обернулась.

– Я предпочитаю ходить одна.

– Миссис Трэнтер объяснила мне, что я ошибся. Я...

– Я знаю, кто вы, сэр.

Ее застенчивая решительность заставила его улыбнуться.

– В таком случае...

Она неожиданно подняла на него глаза, в которых было скрытое за робостью отчаяние.

– Прошу вас, позвольте мне идти одной.

Улыбка застыла у него на губах. Он поклонился и отошел. Однако вместо того, чтобы уйти, она все еще стояла и смотрела в землю.

– И пожалуйста, не говорите никому, что видели меня здесь.

Затем, так и не взглянув на него, она наконец повернулась и пошла дальше, словно знала, что просьба ее была напрасной, и, высказав ее, она тотчас об этом пожалела. Стоя посреди дороги, Чарльз смотрел, как удаляется ее черная фигура. С ним осталось только воспоминание о ее глазах – они были неестественно велики, словно умели видеть и страдать больше других. В их прямом взгляде – он не знал, что она смотрела на него тем же взглядом, с каким раздавала трактаты, – содержался весьма своеобразный элемент отпора. Не подходи ко мне, говорили они. *Noli me tangere*²⁰.

Он посмотрел вокруг, пытаясь понять, почему она хочет скрыть свои прогулки по этим невинным лесам. Какой-нибудь мужчина, быть может, тайное свидание? Но потом он вспомнил ее историю.

Добравшись наконец до Брод-стрит, Чарльз решил по дороге в гостиницу «Белый лев» зайти к миссис Трэнтер и объяснить, что, как только он примет ванну и переоденется, он тотчас...

Дверь открыла Мэри, но миссис Трэнтер случайно оказалась в прихожей – вернее, нарочно вышла в прихожую – и убедила его не церемониться: его костюм красноречивее всяких извинений. Итак, Мэри, улыбаясь, взяла у него ясеневую палку и рюкзак и повела его в маленькую гостиную, залитую последними лучами заходящего солнца, где в тщательно обдуванном, прелестном карминно-сером дезабилье возлежала больная.

– Я чувствую себя, как ирландский землекоп в будуаре королевы, – посетовал Чарльз, целуя пальчики Эрнестины с таким видом, который ясно доказывал, что землекоп из него никудышный.

Она отняла руку.

– Вы не получите ни капли чаю, покуда не дадите отчет о каждой минуте сегодняшнего дня.

Он рассказал ей обо всем, что с ним приключилось, или почти обо всем: ведь Эрнестина уже дважды дала ему понять, что упоминание о любовнице французского лейтенанта ей глубоко неприятно, – первый раз на Коббе, а второй за завтраком, когда миссис Трэнтер сообщила Чарльзу почти такие же сведения, какие приходский священник годом раньше сообщил миссис Поултни. Но Эрнестина отчитала тетюшку за то, что она надоедает Чарльзу глупой болтовней, и бедная женщина – ей слишком часто ставили в упрек ее провинциальные манеры, и потому она всегда была настороже, – смиренно умолкла.

Чарльз протянул Эрнестине камень с отпечатками аммонитов, и та, отложив в сторону каминный щит (предмет наподобие ракетки для пинг-понга, с длинной лопастью, обтянутой вышитым атласом и оплетенной по краям коричневой тесьмой), попыталась удержать в руках увесистый подарок, но не смогла, после чего простила Чарльза все его прегрешения за этот поистине геркулесов подвиг и принялась с притворным гневом укорять его за то, что он так легкомысленно рискует своей жизнью и здоровьем.

– Эти террасы просто очаровательны. Я понятия не имел, что в Англии существует такая глушь. Они напомнили мне некоторые приморские пейзажи на севере Португалии.

– Да он просто вне себя! – вскричала Эрнестина. – Признайтесь, Чарльз, вместо того чтобы рубить головы ни в чем не повинным утесам, вы флиртовали с лесными нимфами.

Тут Чарльза охватило невыразимое смущение, которое он поспешил прикрыть улыбкой. Его так и подмывало рассказать им про девушку; он даже придумал забавную историю о том, как он на нее наткнулся, и все же это значило бы предать не только ее искреннюю печаль, но и самого себя. Он чувствовал, что солгал бы, так легко отмахнувшись от обеих встреч с нею,

²⁰ Не тронь меня (*лат.*).

и в конце концов ему показалось, что наименьшим обманом в этой банальной комнате будет молчание.

Остается объяснить, почему за две недели до описанных событий при упоминании о Вэрской пустоши на лице миссис Поултни выразился такой ужас, словно она увидела перед собою Содом и Гоморру^[76].

Между тем объяснение заключается всего лишь в том, что это было ближайшее к Лайму место, куда люди могли пойти, зная, что там за ними никто не будет подсматривать. Земля эта имела долгую, темную и злополучную юридическую историю. До принятия парламентских актов об огораживании^[77] она всегда считалась общинной, но потом ее неприкосновенность была нарушена, о чем до сих пор свидетельствуют названия полей вокруг сыроварни, которые от нее отторгли. Джентльмен, живший в одном из больших домов, расположенных за террасами, совершил тихий *Anschluss*^{21[78]}, причем, как это уже не раз бывало в истории, с одобрения своих сограждан. Правда, некоторые республикански настроенные жители Лайма поднялись на защиту общинной собственности с оружием в руках (если считать оружием топор), потому что упомянутый джентльмен воспылил страстным желанием основать на террасах древесный питомник. Дело дошло до суда, а затем стороны пошли на компромисс: гражданам было предоставлено право прохода по чужой земле с условием, что они не будут трогать редкие породы деревьев. Однако общественного выгона они лишились.

Тем не менее в округе сохранялось убеждение, что Вэрская пустошь – общественная собственность. Браконьеры, пробираясь туда за фазанами и кроликами, испытывали меньше угрызений совести, чем в других местах, а однажды – о ужас! – оказалось, что там в укромной ложине неизвестно сколько уже месяцев подряд ютится цыганский табор. Изгоев – простите за каламбур – немедленно изгнали, но воспоминание об их присутствии осталось и вскоре слилось с воспоминанием о маленькой девочке, которая примерно в это же время исчезла из близлежащей деревни. Никто не сомневался, что цыгане ее похитили, бросили в котел в качестве приправы для рагу из кроликов, а косточки закопали. Цыгане не англичане, а следовательно, почти наверняка людоеды.

Но самое тяжкое обвинение против Вэрской пустоши было связано с еще более постыдными делами: проселочная дорога, ведущая к сыроварне и дальше на лесистый выгон, хотя ее никогда и не называли этим широко распространенным в сельской местности именем, была *de facto*²² Тропой Любви. Каждое лето сюда тянулись влюбленные пары. Предлогом служила кружка молока в сыроварне, а множество заманчивых тропинок на обратном пути вело в укромные уголки, защищенные зарослями орляка и боярышника.

Одной этой тайной язвы самой по себе было уже достаточно, но существовало нечто пострашнее. С незапамятных времен (задолго до Шекспира) повелось, что в ночь накануне Иванова дня молодежь, захватив с собой фонари, скрипача и пару бочонков сидра, отправлялась в чащу леса на Ослиный луг и там устраивала танцы по случаю летнего солнцестояния. Кое-кто, правда, поговаривал, будто после полуночи было больше пьянства, чем танцев, а еще более суровые блюстители нравов утверждали, будто не было ни того ни другого, а происходило нечто совершенно иное.

Научное земледелие в форме миксоматоза^[79] в самое последнее время лишило нас Ослиного луга; впрочем, с падением нравов и сам обычай тоже был забыт. Уже много лет подряд на Ослином лугу в Иванову ночь кувыркаются одни только лисята и барсучата. Но в 1867 году дело обстояло далеко не так.

Всего лишь годом раньше дамский комитет под предводительством миссис Поултни потребовал от муниципальных властей загородить дорогу забором, воздвигнуть ворота и запе-

²¹ Присоединение (нем.).

²² Фактически (лат.).

реть их на замок. Однако верх взяли более демократичные голоса. Право прохода по чужой земле должно остаться священным и неприкосновенным, и среди членов городского совета нашлось даже несколько гнусных сластолюбцев, которые утверждали, будто прогулка в сыроварню – вполне невинное развлечение, а бал на Ослином лугу – всего лишь ежегодная забава. Однако в обществе более респектабельных обывателей достаточно было сказать о юноше или девушке: «они с Вэрской пустоши», чтобы обмазать их дегтем на всю жизнь. Юноша тем самым превращался в сатира, а девушка – в подзаборную потаскушку.

Поэтому в тот вечер, когда миссис Фэрли столь самоотверженно заставила себя выполнить свой долг, Сара, возвратившись с прогулки, нашла, что миссис Поултни готовится встретить ее во всеоружии и, я бы даже сказал, с помпой. Явившись в личную гостиную миссис Поултни для ежевечернего чтения Библии, она очутилась как бы против жерла нацеленной на нее пушки. Было совершенно очевидно, что пушка вот-вот выстрелит, и притом со страшным грохотом.

Сара направилась в угол комнаты, где на аналое покоилась большая «семейная» Библия – не то, что вы подразумеваете под семейной Библией, а Библия, из которой были благочестиво изъяты некоторые совершенно необъяснимые в Священном Писании погрешности против хорошего вкуса, вроде Песни Песней царя Соломона. Она сразу заметила что-то неладное.

– Что случилось, миссис Поултни?

– Случилось нечто ужасное – отвечала аббатиса. – Я даже не поверила своим ушам.

– Что-нибудь про меня?

– Мне не следовало слушаться доктора. Мне следовало слушаться лишь велений собственного здравого смысла.

– Что я сделала?

– Я уверена, что вы вовсе не сумасшедшая. Вы хитрая, испорченная особа. Вы отлично знаете, что вы сделали.

– Я могу поклясться на Библии...

Но миссис Поултни окинула ее негодующим взглядом.

– Вы не посмеете! Это кощунство!

Сара подошла и остановилась перед своей госпожой.

– Я настоятельно прошу вас объяснить, в чем меня обвиняют.

Миссис Поултни сказала. К ее изумлению, Сара ничуть не смутилась.

– Но разве гулять по Вэрской пустоши – это грех?

– Грех? Вы, молодая женщина, одна в таком месте!

– Но, сударыня, ведь это всего-навсего большой лес.

– Я прекрасно знаю, что это такое. И что там делается. И кто туда ходит.

– Туда никто не ходит. Поэтому я там и гуляю – чтобы побыть одной.

– Вы мне возражаете, мисс? Неужели вы думаете, я не знаю, о чем говорю?

Тут следует заметить, что, во-первых, миссис Поултни никогда в глаза не видела Вэрской пустоши, даже издали, ибо ее не было видно ни с какой проезжей для карет дороги. Во-вторых, она была морфинисткой – но, прежде чем вы подумаете, что я сумасбродно жертвую правдоподобием ради сенсации, спешу добавить, что она этого не знала. То, что мы называем морфием, она называла лауданумом. Один хитроумный, хотя и нечестивый врач тех времен называл его «лорданум», ибо многие благородные (и не только благородные) дамы – а снадобье это в виде «сердечных капель Годфри» было достаточно дешевым, чтобы помочь всем классам общества пережить черную ночь женской половины рода человеческого, – вкушали его гораздо чаще, чем святое причастие. Короче говоря, это было нечто вроде успокаивающих пилюль нашего века. Почему миссис Поултни стала обитательницей викторианской «долины спящих красавиц»^[80], спрашивать нет нужды, важно лишь, что лауданум, как некогда открыл Кольридж^[81], навевает живые сны.

Я не могу даже представить себе, какую картину в стиле Босха^[82] много лет рисовала в своем воображении миссис Поултни, какие сатанинские оргии чудились ей за каждым деревом, какие французские извращения под каждым листом на Вэрской пустоши. Но, кажется, мы можем с уверенностью считать это объективным коррелятом^[83] всего происходившего в ее собственном подсознании.

Вспышка хозяйки заставила замолчать и ее самое, и Сару. Выпустив заряд, миссис Поултни начала менять курс.

– Вы меня глубоко огорчили.

– Но откуда мне было знать? Мне запрещено ходить к морю. Ну что ж, к морю я не хожу. Я ищу одиночества. Вот и все. Это не грех. За это меня нельзя назвать грешницей.

– Разве вы никогда не слыхали, что говорят о Вэрской пустоши?

– В том смысле, какой вы имеете в виду, – никогда.

Негодование девушки заставило миссис Поултни несколько сбавить тон. Она вспомнила, что Сара лишь недавно поселилась в Лайме и вполне могла не знать, какой позор она на себя навлекает.

– Пусть так. Но да будет вам известно, что я не разрешаю никому из моих служащих гулять там или по соседству. Вы должны ограничить свои прогулки более приличными местами. Вы меня поняли?

– Да. Я должна ходить стезями добродетели.^[84]

На какую-то ужасную долю секунды миссис Поултни показалось, что Сара над ней смеется, но глаза девушки были смиренно опущены долу, словно она произносила приговор самой себе, и ведь, в конце концов, добродетель и страдание – одно и то же.

– В таком случае я не желаю больше слышать об этих глупостях. Я делаю это для вашей же пользы.

– Я знаю, – тихо промолвила Сара. – Благодарю вас, сударыня.

Больше ничего не было сказано. Она взяла Библию и стала читать помеченный миссис Поултни отрывок – тот же, что был выбран для первой беседы, а именно псалом 118: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Сара читала глухим голосом и, казалось, без всякого чувства. Старуха смотрела в скрытый сумраком дальний конец комнаты; она напоминала языческого идола и словно забыла о кровавой жертве, которой требовало ее безжалостное каменное лицо.

В эту ночь Сару можно было видеть – хоть я ума не приложу, кто, кроме пролетающей совы, мог бы ее увидеть, – у открытого окна ее неосвещенной спальни. В доме, равно как и во всем городе, царил тишина – ведь до открытия электричества и телевидения люди ложились спать в девять вечера. Был уже час ночи. Сара, в ночной сорочке, с распущенными волосами, не сводила глаз с моря. Далекий фонарь слабо мерцал на черной воде в стороне Портленд-Билла – какое-то судно направлялось в Бридпорт. Сара заметила эту крошечную светлую точку, но тотчас о ней позабыла.

Подойдя еще ближе, вы увидели бы, что по лицу ее текут молчаливые слезы. Она стояла у окна не на своей таинственной вахте в ожидании парусов Сатаны, а собиралась из этого окна выброситься.

Я не буду заставлять ее раскачиваться на подоконнике, высовываться наружу, а потом, рыдая, валиться на истертый ковер, покрывавший пол ее комнаты. Мы знаем, что через две недели после этого происшествия она была жива и, следовательно, из окна не выбросилась. К тому же слезы ее не были истерическими рыданиями, которые предвещают самоубийство, – это были слезы скорби, вызванной скорее глубокими внешними причинами, нежели душевными переживаниями, слезы, которые текут медленно, безостановочно, как кровь, что сочится сквозь бинты.

Кто же такая Сара?

Из какого сумрака она явилась?

13

Но темны помышления Творца, и не нам их дано разгадать...
А. Теннисон. Мод (1855)

Я не знаю. Все, о чем я здесь рассказываю, – сплошной вымысел. Герои, которых я создаю, никогда не существовали за пределами моего воображения. Если до сих пор я делал вид, будто мне известны их сокровенные мысли и чувства, то лишь потому, что, усвоив в какой-то мере язык и «голос» эпохи, в которую происходит действие моего повествования, я аналогичным образом придерживаюсь и общепринятой тогда условности: романист стоит на втором месте после Господа Бога. Если он и не знает всего, то пытается делать вид, что знает. Но живу я в век Алена Роб-Грийе^[85] и Ролана Барта^[86], а потому если это роман, то никак не роман в современном смысле слова.

Но, возможно, я пишу транспонированную^[87] автобиографию, возможно, я сейчас живу в одном из домов, которые фигурируют в моем повествовании, возможно, Чарльз не кто иной, как я сам в маске. Возможно, все это лишь игра. Женщины, подобные Саре, существуют и теперь, и я никогда их не понимал. А возможно, под видом романа я пытаюсь подсунуть вам сборник эссе. Возможно, вместо порядковых номеров мне следовало снабдить главы названиями вроде: «Горизонтальность бытия», «Иллюзии прогресса», «История романной формы», «Этиология свободы», «Некоторые забытые аспекты Викторианской эпохи»... да какими угодно.

Возможно, вы думаете, что романисту достаточно дернуть за соответствующие веревочки и его марионетки будут вести себя как живые и по мере надобности предоставлять ему подробный анализ своих намерений и мотивов. На данной стадии (глава тринадцатая, в которой раскрывается истинное умонастроение Сары) я действительно намеревался сказать о ней все – или все, что имеет значение. Однако я внезапно обнаружил, что подобен человеку, который в эту студеную весеннюю ночь стоит на лужайке и смотрит на тускло освещенное окно в верхнем этаже Мальборо-хауса; и я знаю, что в контексте действительности, существующей в моей книге, Сара ни за что не стала бы, утерев слезы, высовываться из окна и выступать с целой главой откровенных признаний. Случись ей увидеть меня в ту минуту, когда взошла луна, она бы тотчас повернулась и исчезла в окутывавшем ее комнату сумраке.

Но ведь я романист, а не человек в саду, так разве я не могу следовать за ней повсюду, куда мне заблагорассудится? Однако возможность – это еще не вседозволенность. Мужья нередко имеют возможность прикончить своих жен (и наоборот) и выйти сухими из воды. Но не приканчивают.

Вы, быть может, полагаете, что романисты всегда заранее составляют планы своих произведений, так что будущее, предсказанное в главе первой, непременно претворится в действительность в главе тринадцатой. Однако романистами движет бесчисленное множество разных причин: кто пишет ради денег, кто – ради славы, кто – для критиков, родителей, возлюбленных, друзей, кто – из тщеславия, из гордости, из любопытства, а кто – просто ради собственного удовольствия, как столяры, которым нравится мастерить мебель, пьяницы, которым нравится выпивать, судьи, которым нравится судить, сицилианцы, которым нравится всаживать пули в спину врагу. Причин хватит на целую книгу, и все они будут истинными, хотя и не будут отражать всю истину. Лишь одна причина является общей для всех нас – мы все хотим создать миры такие же реальные, но не совсем такие, как тот, который существует. Или существовал. Вот почему мы не можем заранее составить себе план. Мы знаем, что мир – это организм, а не механизм. Мы знаем также, что мир, созданный по всем правилам искусства, должен быть независим от своего создателя; мир, сработанный по плану (то есть мир, который ясно пока-

зывает, что его сработали по плану), – это мертвый мир. Наши герои и события начинают жить только тогда, когда они перестают нам повиноваться. Когда Чарльз оставил Сару на краю утеса, я велел ему идти прямо в Лайм-Риджис. Но он туда не пошел, а ни с того ни с сего повернул и спустился к сыроварне.

Да бросьте, скажете вы, на самом-то деле, пока вы писали, вас вдруг осенило, что лучше заставить его остановиться, выпить молока... и снова встретить Сару. Разумеется, и такое объяснение возможно, но единственное, что я могу сообщить – а ведь я свидетель, заслуживающий наибольшего доверия, – мне казалось, будто эта мысль определенно исходит не от меня, а от Чарльза. Мало того, что герой начинает обретать независимость, – если я хочу сделать его живым, я должен с уважением относиться к ней и без всякого уважения к тем квазибожественным планам, которые я для него составил.

Иными словами, чтобы обрести свободу для себя, я должен дать свободу и ему, и Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Имеется лишь одно хорошее определение Бога: свобода, которая допускает существование всех остальных свобод. И я должен придерживаться этого определения.

Романист до сих пор еще бог, ибо он творит (и даже самому что ни на есть алеаторическому^[88] авангардистскому роману не удалось окончательно истребить своего автора); разница лишь в том, что мы не боги викторианского образца, всезнающие и всемогущие, мы – боги нового теологического образца, чей первый принцип – свобода, а не власть.

Я бессовестно разрушил иллюзию? Нет. Мои герои существуют, и притом в реальности не менее или не более реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел пронизывает все, как заметил один грек тысячи две с половиной лет назад. Я нахожу эту новую реальность (или нереальность) более веской, и хорошо, если вы разделите мою уверенность, что я команду этими порождениями моей фантазии не больше, чем вы – как бы вы ни старались, какую бы новую миссис Поултни собою ни являли – командуете своими детьми, коллегами, друзьями и даже самими собой.

Но ведь это ни с чем не сообразно? Персонаж либо «реален», либо «воображаем». Если вы, *hypocrite lecteur*^{23[89]}, на самом деле так думаете, мне остается только улыбнуться. Даже ваше собственное прошлое не представляется вам чем-то совершенно реальным – вы наряжаете его, стараетесь обелить или очернить, вы его редактируете, кое-как латаете... словом, превращаете в художественный вымысел и убираете на полку – это ваша книга, ваша романизированная автобиография. Мы все бежим от реальной реальности. Это главная отличительная черта *Homo sapiens*²⁴.

Поэтому, если вы думаете, что сие злополучное (глава-то ведь все-таки тринадцатая) отступление не имеет ничего общего с вашей Эпохой, с вашим Прогрессом, Обществом, Эволюцией и прочими ночными призраками с заглавной буквы, которые бренчат цепями за кулисами этой книги, я не стану спорить. Но все равно буду держать вас под подозрением.

Итак, я сообщаю лишь внешние обстоятельства, а именно, что Сара плакала в темноте, но не покончила самоубийством, что она, вопреки строжайшему запрету, продолжала бродить по Вэрской пустоши. Вот почему в каком-то смысле она и впрямь выбросилась из окна и жила как бы в процессе затянувшегося падения, ибо рано или поздно миссис Поултни неизбежно должна была узнать, что грешница упорствует в своем грехе. Правда, теперь Сара ходила в лес реже, чем привыкла, – лишение, которое вначале облегчили две недели дождливой погоды. Правда и то, что она приняла кое-какие меры предосторожности. Проселок постепенно переходил в узкую тропу, немногим лучше этого образцового проселка, а тропа, изгибаясь, спускалась в широкую ложину, известную под названием Вэрской долины, и затем на окраине Лайма соеди-

²³ Лицемерный читатель (*фр.*).

²⁴ Разумного человека (*лат.*).

нялась с главной проезжей дорогой, ведущей на Сидмут и Эксетер. В Вэрской долине было несколько респектабельных домов, и потому она считалась вполне приличным местом для прогулок. К счастью, из этих домов не видно было то место, где проселок переходит в тропу. Очутившись там, Саре достаточно было удостовериться, что кругом никого нет. Однажды ей захотелось погулять по лесу. Выйдя на дорогу к сыроварне, она увидела на повороте верхней тропы двоих гуляющих, направилась прямо к ним, скрылась за поворотом и, убедившись, что они идут не к сыроварне, повернула назад и, никем не замеченная, углубилась в чащу.

Она рисковала встретить других гуляющих на самом проселке, и, кроме того, всегда оставался риск попасться на глаза сыровару и его домочадцам. Но этой последней опасности ей удалось избежать – оказалось, что одна из таинственных тропинок, уводящих наверх, в заросли орляка, огибая сыроварню, ведет кружным путем в лес. По этой тропе она всегда и ходила вплоть до того дня, когда столь опрометчиво – как мы теперь понимаем – появилась прямо перед обоими мужчинами.

Причина была проста. Она проспала и боялась опоздать к чтению Библии. В этот вечер миссис Поултни была приглашена обедать к леди Коттон, и чтение перенесли на более ранний час, чтобы дать ей возможность подготовиться к тому, что всегда было – по сути, если не по видимости – оглушительным столкновением двух бронтозавров, и хотя стальные хрящи заменял черный бархат, а злобный скрежет зубов – цитаты из Библии, битва оставалась не менее жестокой и беспощадной.

Кроме того, Сару испугало лицо Чарльза, смотревшего на нее сверху; она почувствовала, что скорость ее падения возрастает, а когда неумолимая земля несется навстречу и падаешь с такой высоты – к чему предосторожности?

14

– По моему мнению, мистер Эллиот, хорошее общество – это общество умных, образованных людей, у которых есть много тем для беседы. Вот что я называю хорошим обществом.

– Вы ошибаетесь, – мягко возразил он, – это не просто хорошее общество, это – лучшее общество. Хорошее общество требует только благородного происхождения, образования и изящных манер, хотя, если говорить об образовании, то я бы не назвал его блестящим.

Джейн Остин. Убеждение

Хотя в XIX веке посетителей Лайма и не подвергали в полном смысле слова тяжкому испытанию, через которое надлежало пройти чужеземцам, посещавшим древнегреческие колонии – Чарльзу не пришлось держать речь в стиле Перикла^[90] и читать подробную сводку международных событий со ступеней городской ратуши, – от них, несомненно, ожидали, что они позволят на себя глазеть и вступать с собою в разговор. Эрнестина заранее предупредила Чарльза, что он должен считать себя не более как диким зверем в клетке и постараться добродушно терпеть, когда все кому не лень станут бесцеремонно пялить на него глаза или тыкать в него зонтиком. Итак, ему приходилось три раза в неделю вместе со своими дамами наносить визиты и страдать от смертельной скуки, единственной наградой за которую была прелестная сценка, регулярно повторявшаяся по возвращении в дом тетюшки Трэнтер. Эрнестина тревожно заглядывала ему в глаза, помутневшие от пошлой болтовни, и говорила: «Это было ужасно? Вы можете меня простить? Вы меня ненавидите?», а когда он улыбался, бросалась ему на шею, словно он чудом спасся от бунта или снежной лавины.

Случилось так, что на следующее утро после того, как Чарльз открыл террасы, снежная лавина была уготована ему в Мальборо-хаусе. Во всех этих визитах не было ни тени случайности или непринужденности. Да и не могло быть, потому что в таком маленьком городке гости и хозяева менялись ролями с невероятной быстротой, строго придерживаясь ими же установленного протокола. Чарльз навряд ли интересовал миссис Поултни больше, чем она Чарльза, но она была бы смертельно оскорблена, если бы его не притащили к ней в цепях, чтобы она могла попать его своею толстой ножкой – и как можно скорее после его прибытия, ибо чем позже визит, тем меньше чести.

Разумеется, «приезжие» были всего лишь пешками в игре. Сами по себе визиты значения не имели; зато сколько удовольствия можно было из них извлечь! «Милая миссис Трэнтер так хотела, чтоб я первой познакомилась...» Или: «Удивляюсь, что Эрнестина до сих пор у вас не побывала; нас она балует – уже два визита...» Или: «Я уверена, что это просто недоразумение; миссис Трэнтер – добрейшая душа, но она так рассеянна...» Пальчики оближешь, да и только. Эти и другие подобные возможности сладострастно повернуть светский кинжал в ране ближнего определялись запасом «именитых» визитеров вроде Чарльза. Поэтому у него было столько же шансов избежать своей участи, сколько у жирной мыши избежать когтей голодной кошки, точнее, нескольких десятков голодных кошек.

Когда наутро после упомянутой встречи в лесу доложили о визите миссис Трэнтер и ее молодых спутников, Сара тотчас поднялась, чтобы уйти. Однако миссис Поултни, которую мысль о молодом счастье всегда раздражала и которая после вечера, проведенного у леди Коттон, имела более чем достаточно причин для раздражения, велела ей остаться. Эрнестину она считала легкомысленной молодой особой и не сомневалась, что и ее нареченный окажется легкомысленным молодым человеком, а потому сочла чуть ли не своим долгом привести их в

замешательство. К тому же она знала, что подобные светские обязанности для грешника хуже власяницы. Все складывалось как нельзя лучше.

Гостей ввели в гостиную. Миссис Трэнтер, шелестя шелками и излучая доброжелательность, бросилась вперед. Сара скромно держалась на заднем плане, мучительно ощущая себя лишней, а Чарльз с Эрнестиной непринужденно остановились в ожидании позади обеих почтенных дам, чье знакомство, насчитывавшее не один десяток лет, требовало хотя бы символических объятий. Затем хозяйке представили Эрнестину, которая, прежде чем пожать протянутую ей царственную руку, изобразила некое слабое подобие реверанса.

– Здравствуйте, миссис Поултни. Вы чудесно выглядите.

– В моем возрасте, мисс Фримен, важно лишь душевное здоровье.

– В таком случае я за вас совершенно спокойна.

Миссис Поултни не прочь была и дальше развивать эту интересную тему, но Эрнестина повернулась, чтобы представить ей Чарльза, и он почтительно склонился над рукой старухи.

– Рад познакомиться с вами, сударыня. Какой прелестный дом.

– Для меня он слишком велик. Я держу его ради моего дорогого супруга. Я знаю, что он бы этого желал... вернее, желает.

Минуя взглядом Чарльза, она уставилась на главную домашнюю икону – портрет Фредерика Поултни, выполненный маслом всего лишь за два года до его смерти, в 1851 году, из коего со всей очевидностью следовало, что это был мудрый, достойный, благообразный человек и добрый христианин, во всех отношениях превосходящий большинство смертных. Добрым христианином он, несомненно, был, и в высшей степени достойным человеком тоже, но для изображения других качеств живописцу пришлось напрячь всю свою фантазию. Давно почивший в бозе мистер Поултни был полнейшим, хотя и очень богатым, ничтожеством, и единственным значительным поступком всей его жизни был его уход из оной. Чарльз с приличествующим случаю почтением рассматривал этого гостя с того света.

– Разумеется. Я понимаю. Вполне естественно.

– Их желания следует выполнять.

– Вы совершенно правы.

Миссис Трэнтер, которая уже успела улыбнуться Саре, решила воспользоваться ее присутствием, чтобы прервать эту зауспокойную входную молитву^[91].

– Милая мисс Вудраф, я так рада вас видеть. – Подойдя к Саре, она пожала ей руку, посмотрела на нее взглядом, исполненным искренней заботы, и, понизив голос, сказала: – Не зайдете ли вы ко мне – когда уедет моя дорогая Тина?

Лицо Сары на секунду неузнаваемо изменилось. Упомянутый выше компьютер в ее сердце давно уже оценил миссис Трэнтер и заложил в память эту информацию. Ставшая привычной в присутствии миссис Поултни личина сдержанности и независимости, которые грозили перейти в открытое неповиновение, мгновенно спала. Она даже улыбнулась, хотя и грустно, и еле заметно кивнула: если смогу, то приду.

Настала очередь представить друг другу остальных. Девуцы обменялись холодными кивками, а Чарльз поклонился. Он внимательно наблюдал за Сарой, но она ничем не выдала, что уже дважды встречалась с ним накануне, и старательно избегала его взгляда. Ему очень хотелось узнать, как эта дикарка станет вести себя в клетке, но вскоре он с разочарованием убедился в ее полнейшей кротости. За исключением тех случаев, когда миссис Поултни просила Сару что-нибудь принести или позвонить, чтобы дамам подали горячего шоколаду, она совершенно ее игнорировала. Точно так же – с неудовольствием заметил Чарльз – поступала и Эрнестина. Миссис Трэнтер изо всех сил старалась втянуть Сару в общую беседу, но та сидела в стороне с отсутствующим и безучастным видом, который можно было принять за сознание своего подчиненного положения. Сам он несколько раз вежливо адресовался к ней за подтвер-

ждением какой-либо мысли, но без всякого успеха. Она отвечала односложно и по-прежнему избегала его взгляда.

Лишь к концу визита Чарльз начал понимать истинную подоплеку ее поведения. Ему стало ясно, что молчаливая кротость совсем не в характере Сары, что, следовательно, она играет роль и что она отнюдь не разделяет и не одобряет взглядов своей хозяйки. Миссис Поултни и миссис Трэнтер – причем одна хмуро бурчала, а вторая благодушно журчала – были поглощены светской беседой, обладавшей свойством тянуться сколь угодно долго, несмотря на сравнительно ограниченное число освященных этикетом тем: прислуга, погода, предстоящие крестины, похороны и свадьбы, мистер Дизраэли и мистер Гладстон (последний сюжет, очевидно, ради Чарльза, хотя он дал миссис Поултни повод сурово осудить личные принципы первого и политические принципы второго)²⁵{291}{292}, затем последняя воскресная проповедь, недостатки местных лавочников, а отсюда, естественно, опять прислуга. И пока Чарльз улыбался, поднимал брови и согласно кивал, пробираясь через это знакомое чистилище, он пришел к выводу, что молчаливая мисс Вудраф страдает от ощущения несправедливости и – обстоятельство, не лишенное интереса для внимательного наблюдателя, – странным образом почти не пытается это скрыть. Это свидетельствует о проницательности Чарльза: то, что он заметил, ускользнуло почти от всех остальных обитателей Лайма. Возможно, однако, вывод его остался бы всего лишь подозрением, если бы хозяйка дома не разразилась типичным поултнизмом.

– А та девушка, которой я отказала от места... она не доставляет вам неприятностей?

– Мэри? – улыбнулась миссис Трэнтер. – Да я ни за что на свете с нею не расстанусь.

– Миссис Фэрли говорит, что сегодня утром видела, как с ней разговаривал какой-то мужчина. – Слово «мужчина» миссис Поултни произнесла так, как французский патриот во время оккупации мог бы произнести слово «наци». – Молодой мужчина. Миссис Фэрли его не знает.

Эрнестина бросила острый и укоризненный взгляд на Чарльза, и он в ужасе чуть было не принял это замечание на свой счет, но тотчас догадался, о ком идет речь.

Он улыбнулся.

– Тогда это наверняка был Сэм. Мой слуга, сударыня, – пояснил он, обращаясь к миссис Поултни.

– Я как раз хотела вам сказать, – вмешалась Эрнестина, избегая его взгляда. – Я вчера тоже видела, как они разговаривали.

– Но разве... разве мы можем запретить им разговаривать при встрече?

²⁵ Быть может, справедливости ради следует сказать, что весной 1867 года неодобрительное мнение этой дамы разделяли многие другие. В том году мистер Гладраэли и мистер Дизистон^[291] совместно проделали головокружительное сальто-мортале. Ведь мы порой забываем, что Великий Либерал отчаянно сопротивлялся принятию последнего великого Билля о реформе, внесенного Отцом Современного Консерватизма и ставшего законом в августе того же года. Поэтому тори, подобные миссис Поултни, обнаружили, что от ужасной перспективы стать свидетелями того, как их челядь еще на один шаг приблизилась к избирательным урнам, их защищает не кто иной, как лидер партии, столь ненавистной им практически во всех остальных отношениях. Маркс в одной из своих статей в «Нью-Йорк геральд трибюн»^[292] заметил: «Таким образом, виги, по признанию их собственного историка, на деле представляют собой нечто весьма отличное от провозглашаемых ими либеральных и просвещенных принципов. Эта партия, таким образом, оказывается точь-в-точь в положении того пьяницы, который, представ перед лорд-мэром, утверждал, что он в принципе сторонник трезвости, но по воскресеньям каждый раз совершенно случайно напивается пьяным». Этот тип еще не вымер. (Примеч. автора.)

^[291] *Гладраэли и Дизистон.* – Здесь Фаулз сатирически обыгрывает борьбу вокруг реформы парламентского представительства, когда Дизраэли и Гладстон поочередно вносили и отвергали проект нового избирательного закона (второго Билля о реформе), который в 1867 г. был принят по предложению консерватора Дизраэли, несмотря на яростную оппозицию либерала Гладстона. Этот билль окончательно лишил так называемые «гнилые местечки» (в том числе Лайм-Риджис) права посылать депутатов в парламент и предоставил право голоса части рабочего класса.

^[292] *Статья в «Нью-Йорк геральд трибюн».* – Статья в номере от 21 августа 1852 г. «Выборы в Англии. Тори и виги» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 355 – 356).

– Существует огромная разница между тем, что возможно в Лондоне, и тем, что допустимо здесь. По-моему, вам следует поговорить с Сэмом. Эта девушка чересчур легкомысленна.

Миссис Трэнтер обиделась.

– Эрнестина, дитя мое, она, быть может, чересчур бойкая, но у меня никогда не было ни малейшего повода...

– Милая тетя, я знаю, как вы к ней добры.

Чарльз уловил в ее голосе жесткую нотку и вступился за обиженную миссис Трэнтер.

– Хорошо, если бы все хозяйки были столь же добры. Ничто так ясно не свидетельствует о счастье в доме, как счастливая горничная у его дверей.

В ответ Эрнестина опустила глаза, выразительно поджав губы. Добродушная миссис Трэнтер слегка покраснела от этого комплимента и тоже опустила глаза. Миссис Поултни не без удовольствия выслушала их перепалку и пришла к заключению, что Чарльз несимпатичен ей вполне достаточно для того, чтобы ему нагрубить.

– Ваша будущая супруга более сведуща в таких делах, чем вы, мистер Смитсон. Я знаю эту девушку, мне пришлось отказать ей от места. Будь вы постарше, вы бы знали, что в таких делах необходима крайняя строгость.

И тоже опустила глаза – способ, которым она давала понять, что вопрос ею решен, а следовательно, исчерпан раз и навсегда.

– Я склоняюсь перед вашим жизненным опытом, сударыня.

Однако тон его был откровенно холоден и насмешлив. Все три дамы сидели, потупив взор: миссис Трэнтер – от смущения, Эрнестина – от досады на себя, ибо она вовсе не хотела навлечь на Чарльза столь унижительный выговор и жалела, что не промолчала, а миссис Поултни оттого, что она была миссис Поултни. И тут наконец Сара с Чарльзом незаметно от дам обменялись взглядом. Этот мимолетный взгляд был красноречивее всяких слов. Два незнакомца признались друг другу, что у них общий враг. Впервые Сара смотрела на него, а не сквозь него, и Чарльз решил, что он отомстит миссис Поултни, а заодно и преподаст Эрнестине столь очевидно необходимый ей урок человечности.

Он вспомнил также свою недавнюю стычку с отцом Эрнестины по поводу Чарльза Дарвина. В стране и без того безраздельно царит ханжество, и он не потерпит его в девушке, на которой собирается жениться. Он поговорит с Сэмом, да, видит Бог, он поговорит с Сэмом.

Как он с ним говорил, мы сейчас узнаем. Но общее направление этого разговора было, в сущности, уже предрешено, потому что упомянутый миссис Поултни «мужчина» в эту самую минуту сидел на кухне в доме миссис Трэнтер.

Этим утром Сэм действительно встретил Мэри на Куми-стрит и с невинным видом спросил, нельзя ли доставить сажу через час. Он, разумеется, отлично знал, что обе дамы в это время будут в Мальборо-хаусе.

Разговор, состоявшийся на кухне, оказался на удивление серьезным, гораздо серьезнее разговора в гостиной миссис Поултни. Мэри, скрестив свои пухлые ручки, прислонилась к большому кухонному столу; из-под ее косынки выбилась непокорная прядь золотистых волос. Время от времени она задавала вопросы, но говорил главным образом Сэм, хотя он по большей части обращался к длинной, чисто выскобленной столешнице. Лишь изредка глаза их встречались, но они тотчас согласно отводили друг от друга смущенные взгляды.

15

*...Что касается трудящихся классов, то полудикие нравы
предыдущего поколения сменились глубокой и почти всеобщей
чувственностью...*

Доклад о положении в горнопромышленных районах (1850)

...И увлечения прежних дней

Проводит беглою улыбкой.

А.Теннисон. In Memoriam (1850)

Когда настало утро и Чарльз принялся грубо зондировать сердце кокни Сэма, он вовсе не предавал Эрнестину – что бы там ни произошло у миссис Поултни. Вскоре после вышеописанного обмена любезностями они ушли, и всю дорогу вниз на Брод-стрит Эрнестина молчала. Добравшись до дому, она постаралась остаться наедине с Чарльзом и, как только за тетей Трэнтер закрылась дверь, без обычных предварительных самообвинений бросилась ему на шею и расплакалась. Это было первое недоразумение, омрачившее их любовь, и оно привело ее в ужас: подумать только, ее милого, славного Чарльза унизила какая-то отвратительная старуха, и все из-за того, что задела ее, Эрнестинино, самолюбие. Когда он покорно похлопал ее по спине и вытер ей платком глаза, она чистосердечно в этом призналась. В отместку Чарльз запечатлел по поцелую на каждом мокром веке и тут же все ей простил.

– Милая моя глупышка Тина, почему мы должны запрещать другим то, что принесло нам самим столько счастья? Что, если эта скверная девчонка и мой негодник Сэм влюбятся друг в друга? Нам ли бросать в них камень?

Она улыбнулась.

– Вот что бывает, когда пытаешься подражать взрослым.

Он опустился на колени рядом с ее стулом и взял ее руку.

– Милое дитя, вы всегда останетесь для меня такой.

Она наклонилась поцеловать ему руку, а он, в свою очередь, поцеловал ее в макушку.

– Еще восемьдесят восемь дней, – прошептала она. – Даже подумать страшно.

– Давайте убежим. И поедem в Париж.

– Чарльз! Как вам не стыдно!

Она подняла голову, и он поцеловал ее в губы. Она забилась в уголок кресла, в глазах ее блеснули слезы, она покраснела, а сердце – слишком слабое для столь резкой смены чувств – забилось так быстро, что она едва не потеряла сознания. Чарльз игриво пожал ей руку.

– Что, если б нас сейчас увидела достопочтенная миссис Поултни?

Закрыв лицо руками, Эрнестина расхохоталась, ее смех передался Чарльзу, заставил его подойти к окну и изобразить человека, преисполненного чувства собственного достоинства, однако он тут же невольно оглянулся и увидел, что она, раздвинув пальцы, незаметно за ним подглядывает. В тихой комнате снова послышались сдавленные смешки. Обоих поразила одна и та же мысль – какой чудесной свободой одарила их эпоха, как чудесно быть поистине современными молодыми людьми, с поистине современным чувством юмора, на целую тысячу лет оставить позади...

– О Чарльз... О Чарльз, вы помните даму из ранней меловой эры?

Это вызвало новый приступ смеха и привело в полное недоумение миссис Трэнтер, которая как на иголках сидела в соседней комнате, чувствуя, что происходит ссора. В конце концов она набралась духу и вошла, надеясь поправить дело. Тина, все еще смеясь, бросилась ей на шею и расцеловала в обе щеки.

– Милая, славная тетя! Вы такая добрая. А я скверная, избалованная девчонка. Мне страшно надоело мое зеленое уличное платье. Можно, я подарю его Мэри?

Вот почему вечером того же дня Мэри вполне искренне помянула в своих молитвах Эрнестину. Я, правда, не уверен, что эти молитвы были услышаны, ибо, поднявшись с колен, Мэри, вместо того чтобы, как подобает всем добрым христианам, тотчас же лечь в постель, не смогла устоять против искушения последний раз примерить зеленое платье. Комнату освещала одна-единственная свеча, но еще не родилась та женщина, чья красота проиграла бы при свечах. Это облако пушистых золотых волос, эти зеленые переливы, эти колеблющиеся тени, это смущенное, восторженное, изумленное личико... Если бы Господь увидел Мэри в эту ночь, Он наверняка пожелал бы обратиться в падшего ангела.

– Сэм, я пришел к заключению, что ты мне не нужен. – Лица Сэма Чарльз не видел, так как глаза его были закрыты. Его брили. Но по тому, как замерла бритва, ему стало ясно, что удар попал в цель. – Ты можешь возвратиться в Кенсингтон. – Наступившее молчание растопило бы сердце любого хозяина, не обладавшего столь садистскими наклонностями. – Ты имеешь что-то возразить?

– Да, сэр. Мне тут лучше.

– Я пришел к заключению, что ты затеял недоброе. Я знаю, что это твое естественное состояние. Но я предпочитаю, чтобы ты затевал недоброе в Лондоне. Который больше привык к затевальщикам недоброго.

– Я ничего худого не сделал, мистер Чарльз.

– Кроме того, я хочу избавить тебя от неприятных встреч с этой дерзкой горничной миссис Трэнтер. – Чарльз явственно услышал вздох и осторожно приоткрыл один глаз. – Разве это не мило с моей стороны?

Сэм остановившимся взглядом смотрел поверх головы Чарльза.

– Она попросила прощения. Я ее простил.

– Что? Эту коровницу? Быть того не может.

Тут Чарльзу пришлось поспешно закрыть глаз, чтобы избежать грубого шлепка кисточки с мыльной пеной.

– Невежество, мистер Чарльз. Сплошное невежество.

– Вот как. Значит, дело обстоит хуже, чем я думал. Тебе пора уносить ноги.

Но Сэм был сыт по горло. Пену он не смыл, и Чарльзу пришлось открыть глаза, чтобы узнать, в чем дело. А дело было в том, что Сэма обуяла хандра или, во всяком случае, нечто на нее похожее.

– Что случилось?

– Ничего, сэр.

– Не пытайся меня перехитрить. Тебе это все равно не удастся. А теперь выкладывай всю правду. Вчера ты клялся, что к ней и щипцами не притронешься. Надеюсь, ты не станешь это отрицать?

– Она сама ко мне пристала.

– Да, но где *primum mobile*?²⁶ Кто к кому первый пристал?

Тут Чарльз увидел, что зашел слишком далеко. Бритва дрожала в руке Сэма, правда, не с человекоубийственными намерениями, но с едва сдерживаемым негодованием. Протянув руку, Чарльз отобрал у Сэма бритву и помахал ею у него под носом.

– Чтоб через двадцать четыре часа твоей ноги тут не было!

Сэм принялся вытирать умывальник полотенцем, предназначенным для господских щек. Воцарилось молчание; наконец он сдавленным голосом произнес:

²⁶ Главная движущая сила (лат.).

– Мы не лошади. Мы люди.

Чарльз улыбнулся, встал, обошел Сэма сзади и, взяв его за плечо, повернул к себе.

– Извини, Сэм. Однако ты должен признать, что твои прежние отношения с прекрасным полом едва ли могли подготовить меня к такому обороту дела.

Сэм возмущенно уставился в пол. Его былой цинизм обернулся против него.

– Что до этой девушки, как бишь ее зовут? Мэри? С этой очаровательной мисс Мэри очень весело пошутить, но – дай мне кончить, – но мне сказали, что у нее доверчивое, доброе сердце. И я бы не хотел, чтобы ты его разбил.

– Да пускай мне руки отрубят, мистер Чарльз!

– Прекрасно. Я тебе и без этой ампутации верю. Но ты не пойдешь в этот дом и не будешь останавливать эту молодую особу на улице до тех пор, пока я не переговорю с миссис Трэнтер и не узнаю, как она смотрит на твои ухаживания.

При этих словах Сэм, который стоял, потупив взор, поглядел на Чарльза и горестно улыбнулся, словно молодой солдат, выпускающий дух на земле у ног своего командира.

– Пропаций я человек, сэр. Пропаций, да и только.

16

*Мод, в расцвете весны,
напевала старинный мотив —
Пела о смерти в бою и о чести,
не знающей смерти;
Я внимал ей, вздыхая о прошлом,
глухом и жестоком,
И о том, как ничтожен я сам и ленив.*

А. Теннисон. Мод (1855)

*Я вам признаюсь по чести: о тайном взаимном
влеченье
Между мужчиной и женщиной долго я, други, не
ведал.
Так получилось, что раз на каникулах, летом, в
деревне
Брел я полями — бесцельно-уныло, как Теннисон
пишет;
Брел, неуклюжий юнец — не дитя, но еще не
мужчина —
И в отдалении деву узрел с непокрытой главою...*

Артур Хью Клаф. Лесная хижина (1848)

В течение следующих пяти дней никаких событий не произошло. Чарльзу не представилось возможности продолжить изучение террас. Однажды они совершили длительную экскурсию в Сидмут, остальные утра были заполнены визитами или другими, более приятными занятиями вроде стрельбы из лука. На ней в ту пору слегка помешались все английские девицы — обязательные темно-зеленые костюмы так всем к лицу, а дрессированные джентльмены, которые ходят вынимать стрелы из мишеней (в них близорукая Эрнестина — увы! — попадала очень редко) и возвращаются с прелестными шутками насчет Купидона, сердец и девицы Марианны^[92], так милы.

По вечерам Эрнестина обычно уговаривала Чарльза остаться у тети Трэнтер, чтобы обсудить важные семейные дела — кенсингтонский дом был слишком мал, а дом в Белгравии, где они собирались в конце концов обосноваться, был сдан внаем, и срок аренды истекал лишь через два года. Маленькое недоразумение, казалось, заставило Эрнестину перемениться: она стала до того предупредительна и супружески заботлива, что Чарльз, по его словам, начал чувствовать себя каким-то турецким пашой и весьма неоригинально умолял ее хоть в чем-нибудь ему противоречить, а то он может забыть, что они собираются вступить в брак по христианскому закону.

Чарльз добродушно сносил этот внезапный приступ почтительности. Он догадался, что попросту застал Эрнестину врасплох: до их маленькой ссоры она была влюблена больше в замужество, чем в будущего мужа, теперь же оценила по достоинству его, а не только свой будущий юридический статус. Чарльз, надо признаться, такой переход от сдержанности к чувствительности временами находил чуточку приторным. Ему, конечно, нравилось, что перед ним заискивают, что над ним дрожат, с ним советуются, к его мнению прислушиваются. Какому

мужчине это не понравится? Но он много лет наслаждался свободной холостяцкой жизнью и был по-своему тоже скверным, избалованным мальчишкой. Ему все еще казалось странным, что утренние часы ему не принадлежат, что его дневные планы порой приходится приносить в жертву какому-нибудь Тининому капризу. Разумеется, его поддерживало чувство долга: коль скоро так следует вести себя мужьям, значит, и ему тоже, – все равно как, отправляясь на прогулку за город, следует напяливать толстый суконный костюм и подбитые гвоздями башмаки.

А вечера! Долгие часы при свете газа, которые требовалось заполнить без помощи кино и телевидения. Для тех, кто зарабатывал себе на жизнь, такого вопроса не существовало: после двенадцатичасового рабочего дня вопрос, что делать после ужина, решается легко. Но пожалейте несчастных богачей; если днем им и разрешалось хоть немножко побыть в одиночестве, вечерами, согласно неумолимым законам света, они обязаны были скучать в обществе. Посмотрим же, как Чарльз с Эрнестиной совершают переход через одну из подобных пустынь.

От тетушки они по крайней мере избавлены: добрая миссис Трэнтер отправилась пить чай к больной соседке – старой деве, во всем, за исключением наружности и биографии, точной копии ее самой.

Чарльз непринужденно раскинулся на софе, подперев рукою голову – два пальца на щеке, два других и большой под подбородком, локоть на спинке софы, – и серьезно смотрит на Тину; Тина, сидящая на фоне эксминстерского ковра, читает вслух, держа в левой руке красный сафьяновый томик, а в правой – каминный щит (он должен воспрепятствовать потрескивающим углям дерзко опалить ее целомудренную бледность), и им же она не очень точно отбивает очень точный размер стихотворного повествования, которое читает вслух.

Это бестселлер 1860-х годов – «Хозяйка замка Лагарэ» уважаемой миссис Каролины Нортон, о котором не где-нибудь, а в самом «Эдинбургском обозрении»^[93] сказано: «Эта поэма – чистая, нежная, трогательная история страданий, скорби, любви, долга, благочестия и смерти». О том, чтобы наткнуться на столь великолепный набор типичных для середины викторианской эпохи существительных и прилагательных, можно лишь мечтать (а мне, хочу добавить, и в жизни ничего подобного не сочинить). Вы можете подумать, что миссис Нортон была всего лишь занудливой рифмоплетшей той эпохи. Стихи ее, как вы сейчас убедитесь, и в самом деле занудливы, сама же она была далеко не занудой. Начать с того, что она приходилась внучкой Шеридану^[94], а кроме того, по слухам, была возлюбленной Мельбуэрна^[95] – во всяком случае, муж ее поверил этим слухам настолько, чтобы вчинить знаменитому государственному деятелю безуспешный иск о преступной связи, и, наконец, она была пламенной феминисткой или, как мы сказали бы сегодня, вольнодумкой.

Дама, именем которой названа поэма, – развеселая супруга развеселого французского аристократа – становится калекой вследствие несчастного случая на охоте и посвящает остаток своей неумеренно печальной жизни добрым делам, намного более полезным, чем дела леди Коттон, ибо она открывает больницу. Хотя действие происходит в XVII веке, это, без сомнения, хвалебная ода Флоренс Найтингейл^[96]. Вот почему поэма эта затронула сокровенные струны в столь многочисленных женских сердцах того десятилетия. Мы считаем, что великие реформаторы прошлого торжествуют над великим сопротивлением или великим равнодушием. Настоящей «Леди с лампой», конечно, пришлось преодолевать и сопротивление, и равнодушие, но и сочувствие, как я уже говорил по другому поводу^[97], может порою оказаться почти столь же пагубным. Эрнестина читала эту поэму далеко не в первый раз; некоторые места она знала почти наизусть. И всякий раз, когда она ее читала (сейчас чтение, очевидно, было приурочено к Великому посту), она чувствовала, что возвышается духом, становится чище и достойнее. Мне остается лишь добавить, что она никогда в жизни не переступала порога больницы и не ухаживала ни за единым больным поселянином. Разумеется, родители никогда бы ей этого не позволили, однако и у нее самой ничего подобного никогда и в мыслях не было.

Но – скажете вы – в ту пору женщины были прикованы к своей роли. Напомню вам, однако, дату этого вечера: 6 апреля 1867 года. Всего лишь неделей раньше Джон Стюарт Милль^[98] воспользовался одним из первых дебатов по Биллю о реформе в Вестминстере и заявил, что настало время предоставить женщинам избирательное право. Его смелую попытку (предложение было отклонено 196 голосами против 73, причем старый лис Дизраэли воздержался) простые смертные встретили улыбками, «Панч»^[99] – гоготом (одна карикатура изображала группу джентльменов, осаждающих министра женского пола, ха-ха-ха!), а унылое большинство образованных дам, почитавших главным источником своего влияния домашний очаг, неодобрительно нахмурили брови. Тем не менее 30 марта 1867 года мы можем датировать начало эмансипации женщин в Англии, и потому Эрнестину, хихикавшую над выпуском «Панча» за прошлую неделю, который показал ей Чарльз, никак нельзя совершенно оправдать.

Однако мы начали с викторианского вечера в домашнем кругу. Давайте же к нему вернемся. Слушайте. Чарльз слегка затуманенным, хотя и вполне приличествующим случаю взглядом смотрит в сосредоточенное лицо Эрнестины.

– Читать дальше?

– Вы читаете просто изумительно.

Она деликатно откашливается и снова берется за книгу. Только что произошел несчастный случай на охоте; владетель Лагарэ бросается к рухнувшей наземь супруге:

Он волосы ей гладит, обнимает
И с трепетом с земли приподнимает;
В глаза ей смотрит, сам дыша едва:
Она мертва! Любовь его мертва!

Эрнестина строго взглядывает на Чарльза. Глаза его закрыты, словно он пытается представить себе эту трагическую сцену. Он торжественно кивает; он весь обратился в слух.

Эрнестина продолжает:

И, потрясенный, слышит тяжкий стук:
Так сердце в нем заколотилось вдруг —
И вновь остановилось: почему бы?..
Какой-то звук бледнеющие губы
Произнесли... Да, да! Она живет!
Она его по имени зовет!
«О, Клод!» — шепнула... И ни слова боле.
Но никогда такой блаженной боли
Не ведал он, как в этот дивный миг:
Он глубину любви своей постиг.

Последнюю строчку она произносит особенно многозначительно. Она снова смотрит на Чарльза. Глаза его все еще закрыты, но теперь он, очевидно, так взволнован, что даже не в состоянии кивать. Она тихонько переводит дух и, не спуская глаз с жениха, склоненного в глубоком раздумье, читает дальше:

«Ах, Клод, мне больно!» — «Ангел мой, Гертруда!»
Чуть слышный вздох — и на лице, о чудо,
Улыбки тень! Спасенье найдено!
Да ты уснул, бездушное бревно!

Молчание. У Чарльза такое лицо, словно он пришел на похороны. Еще один вздох и свирепый взгляд чтицы:

Блажен, кто, смерть иль муку принимая,
Уверен: рядом есть душа родная...

– Чарльз!

Поэма внезапно превращается в метательный снаряд, который больно бьет Чарльза по руке и падает на пол за софу.

– Что такое?

Эрнестина вскочила с кресла и стоит, весьма нехарактерно подбоченившись. Он приподнимается и бормочет:

– О господи!

– Вы попались, сэр. Вам нет оправдания.

Однако Чарльзу, очевидно, удалось в достаточной мере оправдаться или покаяться, ибо на следующий же день во время обеда у него хватило храбрости высказать неудовольствие, когда Эрнестина в девятнадцатый раз предложила посоветоваться насчет убранства его кабинета в еще несуществующем доме. Расставание с уютной кенсингтонской квартиркой было далеко не самой легкой из предстоящих Чарльзу жертв, и он не мог больше слушать, как ему без конца об этом напоминают. Тетушка Трэнтер приняла его сторону, и ему милостиво разрешили после обеда «покопаться в своих противных камнях».

Он сразу решил, куда ему пойти. Хотя в те минуты, когда он наткнулся на любовницу французского лейтенанта на горной лужайке, голова его была занята только ею, он тем не менее успел заметить у подножия небольшого уступа, на котором находилась эта лужайка, порядочные осыпи кремня. Разумеется, только это и заставило его туда отправиться. Новая вспышка любви и нежности между ним и Эрнестиной вытеснила из его сознания всякую мысль – кроме, быть может, самой случайной и мимолетной – о секретарше миссис Поултни.

Когда он подошел к месту, откуда надо было продираться наверх сквозь заросли куманики, мысль о ней естественно поразила его с новой остротой; он живо представил себе, как она в тот день здесь лежала. Однако, пройдя всю лужайку, он взглянул вниз на уступ, убедился, что там никого нет, и тотчас о ней позабыл. Он спустился к подножию уступа и начал разгребать осыпи в поисках своих иглокожих. День был гораздо холоднее, чем в прошлый раз. Солнце, на обычный апрельский манер, то и дело закрывали облака, но ветер дул с севера, и потому у подножия обращенного к солнцу уступа было очень тепло; когда же Чарльз увидел прямо у себя под ногами великолепный панцирь, очевидно, совсем недавно отколовшийся от материнской кремневой породы, ему стало еще теплее.

Однако минут через сорок ему пришлось смириться с мыслью, что удача его покинула, во всяком случае на кремневой осыпи под утесом. Он снова поднялся на лужайку и направился к тропинке, ведущей обратно в лес. И вдруг – какой-то шорох!

Она уже почти взобралась по круче и сейчас так старательно отдирала от пальто упорно цеплявшиеся за него колючки, что не услышала приглушенных шагов Чарльза. При виде нее он тотчас остановился. Право пройти первой по узкой тропинке принадлежало ей. Но туг она его увидела. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, оба явно смущенные, хотя и с очень разным выражением лица. Чарльз улыбался, а Сара смотрела на него с глубоким подозрением.

– Мисс Вудраф!

Она еле заметно кивнула и заколебалась, словно хотела повернуть обратно, но поняла, что он уступает ей дорогу, и заторопилась поскорее пройти. При этом она поскользнулась на предательском изгибе глинистой тропы и упала на колени. Чарльз бросился к ней, помог ей встать, и теперь она, как дикое животное, молча дрожала, не в силах на него взглянуть.

Бережно поддерживая ее под руку, Чарльз помог ей добраться до ровной зеленой лужайки над морем. Она была все в том же черном пальто и синем платье с белым воротничком. Однако оттого ли, что она поскользнулась, оттого ли, что он держал ее под руку, или просто от холода – не знаю, но только кожа ее покрылась ярким румянцем, который великолепно оттенял ее дикое смятение. Ветер слегка растрепал ей волосы, и она чем-то напоминала мальчишку, которого поймали, когда он рвал яблоки в чужом саду, – объятого сознанием вины, но вины мятежной. Она вдруг взглянула на Чарльза как-то сбоку и снизу большими, почти навывкате, темно-кариими глазами с очень чистыми белками, и этот быстрый взгляд, одновременно робкий и суровый, заставил его отпустить ее руку.

– Страшно подумать, мисс Вудраф, что будет, если вы в один прекрасный день, гуляя в этих зарослях, повредите себе ногу.

– Это не имеет значения.

– Но это будет иметь весьма серьезное значение, сударыня. Судя по вашей давешней просьбе, вы не хотите, чтобы миссис Поултни знала о ваших прогулках. Сохрани меня бог спрашивать вас почему. Но я должен заметить, что если с вами что-нибудь случится, я – единственный человек во всем Лайме, кто сможет сказать, где искать вас.

– Она знает. Она догадается.

– Она знает, что вы ходите сюда – в эти места?

Она смотрела на траву, словно не желая больше отвечать ни на какие вопросы и умоляя его уйти. Однако что-то в этом лице, которое Чарльз внимательно изучал в профиль, заставило его остаться. Он теперь понял, что все его черты были принесены в жертву глазам. Глаза эти не могли скрыть ум, независимость духа; в них был молчаливый отказ от всякого сочувствия, решимость оставаться самой собой. Тогда были в моде тонкие, еле заметные изогнутые брови, но у Сары брови были густые или, во всяком случае, необыкновенно темные, почти под цвет волос, и потому казались еще гуще и порой придавали всему ее облику что-то мальчишеское. Я не хочу этим сказать, что у нее было одно из тех красивых мужественных лиц с тяжелым подбородком, популярных в царствование короля Эдуарда^[100] – тип красоты девушки Гибсона^[101]. Лицо у нее было правильное и очень женственное; скрытой силе ее глаз соответствовала скрытая чувственность рта, который был довольно велик, что опять-таки не отвечало общепринятому вкусу, колебавшемуся между хорошеньким, почти безгубым ротиком и инфантильным луком Купидона. Чарльз, подобно большинству своих современников, все еще находился под некоторым влиянием «Физиономики» Лафатера^[102]. Он обратил внимание на этот рот, и его отнюдь не ввело в заблуждение то, что он был неестественно крепко сжат.

Какие-то отголоски этот взгляд, сверкнувший из темных глаз, несомненно, в нем пробудил, но отголоски отнюдь не английские. Такие лица ассоциировались у него с иностранками, а говоря откровенно (гораздо откровеннее, чем он сказал бы самому себе) – с их постелями. Это было для него следующей ступенью к постижению Сары. Сначала он понял, что она гораздо умнее и независимее, чем кажется, теперь угадал в ней другие, более темные качества.

Истинная натура Сары оттолкнула бы большинство англичан его века – и действительно слегка оттолкнула или по крайней мере шокировала Чарльза. Он в достаточной степени разделял предрассудки своих современников и с подозрением относился к чувственности в любом ее виде; но в то время как они, следуя одной из тех страшных формул, которые диктует нам супер-эго, возложили бы на Сару какую-то долю ответственности за ее врожденные качества, он этого не сделал. За что нам следует благодарить его научные увлечения. Дарвинизм, как это поняли наиболее проникательные его противники, открыл шлюзы для чего-то гораздо более серьезного, чем подрыв библейского мифа о происхождении человека; более глубокий его смысл вел к детерминизму^[103] и бихевиоризму^[104], то есть к философским теориям, которые сводят нравственность к лицемерию, а долг – к соломенной хижине во власти урагана. Я не

хочу сказать, что Чарльз совершенно оправдывал Сару, но осуждать ее он был склонен гораздо меньше, чем ей это могло показаться.

Итак, отчасти его научные увлечения... Но Чарльз обладал еще и тем преимуществом, что он прочитал – разумеется, тайком, потому что книга эта преследовалась за непристойность, – роман, опубликованный во Франции десятью годами ранее, роман по своей тенденции глубоко детерминистский – знаменитую «Госпожу Бовари». И пока он смотрел в лицо стоявшей рядом с ним женщины, в памяти его вдруг ни с того ни с сего всплыло имя Эммы Бовари. Подобные ассоциации равносильны прозрению, но также и соблазну. Вот почему дело кончилось тем, что он не поклонился и не ушел.

Наконец она заговорила.

– Я не знала, что вы здесь.

– Откуда вам было знать?

– Мне пора.

И повернулась. Но он поспешно ее остановил.

– Позвольте мне сначала вам кое-что сказать. Хотя как человек, не знакомый с вами и с обстоятельствами вашей жизни, я, возможно, не имею права это говорить.

Она стояла к нему спиной, опустив голову.

– Вы позволите мне продолжать?

Она молчала. Помедлив, он заговорил снова:

– Мисс Вудраф, я не стану делать вид, будто при мне о вас не говорила... миссис Трэнтер. Я хочу только сказать, что она говорила о вас доброжелательно и с сочувствием. Она думает, что вы не довольны своей теперешней должностью, которую, как я понял, вы заняли скорее в силу обстоятельств, нежели по личной склонности. Я лишь недавно познакомился с миссис Трэнтер. Но в числе преимуществ, которыми я обязан моей будущей женитьбе, не последнее место занимает знакомство с человеком столь бесконечной доброты. Однако перейдем к делу. Я уверен...

Чарльз прервал свою речь, заметив, что она быстро оглянулась на росшие позади них деревья. Ее слух, более тонкий, чем у него, уловил какой-то звук, треск сухой ветки под ногой. Но не успел он спросить ее, что случилось, как сам услышал негромкие мужские голоса. Сара действовала без промедления. Подобрав юбки, она быстро отошла по траве ярдов на сорок и скрылась в зарослях колючего дрока, которые возвышались над лужайкой. Чарльз стоял в замешательстве, словно невольный соучастник ее преступления.

Мужские голоса зазвучали громче. Пора что-то предпринять, решил он и двинулся к тропинке, ведущей вверх, в заросли куманики. Маневр оказался удачным, ибо глазам его одновременно открылась нижняя тропинка и два обращенных кверху лица, на которых было написано крайнее изумление. Эти двое, очевидно, намеревались свернуть туда, где он стоял. Чарльз открыл было рот, чтобы с ними поздороваться, но оба с поразительным проворством исчезли. До него донесся приглушенный крик: «Беги, Джим!» и топот бегущих ног. Затем раздался тихий призывный свист, возбужденное тьяканье собаки, и все стихло.

Убедившись, что они ушли, Чарльз вернулся к дроку. Сара стояла, прижавшись к его острому иглам и отворотив от Чарльза лицо.

– Они ушли. Это, наверное, браконьеры.

Она кивнула, все еще избегая его взгляда. Дрок был усыпан пышными желтыми соцветиями, которые почти совсем закрыли зелень. В воздухе струился их пряный медовый аромат.

– Мне кажется, в этом не было необходимости, – сказал Чарльз.

– Джентльмена, который дорожит своей репутацией, не должны видеть в обществе вавилонской блудницы^[105] Лайма.

И это еще на шаг приблизило его к постижению ее натуры, потому что в голосе ее прозвучала горечь. Чарльз улыбнулся скрытому от него лицу.

– В таком случае вам следует облачиться в порфиру и багряницу, а то, кроме щек, я ничего багряного у вас не вижу.

В ответ она сверкнула на него таким взглядом, словно он терзал загнанного зверя. Потом снова отвернулась.

– Прошу вас, поймите меня правильно, – мягко проговорил Чарльз. – Я искренне сочувствую вам в вашем несчастном положении. Я также ценю вашу заботу о моей репутации. Но ей не может повредить мнение людей, подобных миссис Поултни.

Сара не шевельнулась. Он все еще улыбался с непринужденностью человека, который много путешествовал, много читал и повидал свет.

– Уважаемая мисс Вудраф, я многое видел на своем веку. И у меня тонкий нюх на ханжей... какими бы праведниками они ни прикидывались. Но для чего вам прятаться? В нашей случайной встрече нет ничего неприличного.

И позвольте мне закончить то, что я намеревался вам сказать.

Он отступил, и она снова вышла на общипанную траву. Он заметил у нее на ресницах следы слез. Не навязывая ей своего присутствия, он остался стоять в нескольких шагах у нее за спиной.

– Миссис Трэнтер желает... будет просто счастлива помочь вам, если вы захотите поменять место.

В ответ она лишь покачала головой.

– Нет человека, которому нельзя помочь... если он внушает сочувствие другим. – Он умолк. Резкий порыв ветра подхватил прядь ее волос. Она нервно водворила ее на место. – Я говорю вам только то, что миссис Трэнтер хотела бы сказать сама.

Чарльз не преувеличивал, ибо во время веселого завтрака, последовавшего за примирением, зашла речь о миссис Поултни и Саре. Чарльз был всего лишь случайной жертвой властолюбивой старухи, и вполне естественно, что они вспомнили ту, которая была жертвой постоянной. Коль скоро он уже ворвался в такие пределы, куда менее искушенные в столичной жизни ангелы не смеют даже ступить^[106], Чарльз решил сказать Саре, к какому заключению они в тот день пришли.

– Вам следует уехать из Лайма... из этой округи. Сколько мне известно, вы получили порядочное образование. Я уверен, что в другом месте оно найдет более достойное применение.

Сара ничего не ответила.

– Я знаю, что мисс Фримен и ее матушка охотно наведут справки в Лондоне.

Она отошла к краю уступа и долго смотрела на море, затем обернулась и взглянула на Чарльза, все еще стоявшего у зарослей дрока, взглядом странным, лучезарным и таким прямым, что он ответил ей улыбкой – одной из тех улыбок, о которых знаешь, что они неуместны, но продолжаешь улыбаться.

Она опустила глаза.

– Благодарю вас. Но я не могу отсюда уехать.

Он еле заметно пожал плечами. Он был сбит с толку и испытывал смутное чувство незаслуженной обиды.

– В таком случае мне остается еще раз просить у вас извинения за то, что я вмешался не в свое дело. Это больше не повторится.

Он поклонился и хотел уйти. Но не успел он сделать и двух шагов, как она заговорила.

– Я... я знаю, что миссис Трэнтер желает мне добра.

– В таком случае позвольте ей осуществить это желание.

Она смотрела на траву между ними.

– Когда со мной говорят так, словно... словно я совсем не та, что на самом деле... Я чрезвычайно благодарна. Но такая доброта...

– Такая доброта?

– Такая доброта для меня более жестока, чем...

Она не закончила фразу и опять отвернулась к морю. Чарльзу ужасно захотелось подойти, схватить ее за плечи и как следует тряхнуть: трагедия хороша на сцене, но в обычной жизни может показаться просто блажью. Все это, хотя и в менее резких выражениях, он ей высказал.

– То, что вы называете упрямством, – моя единственная защита.

– Мисс Вудраф, позвольте мне быть откровенным. Я слышал, что вы... что вы не совсем в здравом уме. Я думаю, что это далеко не соответствует истине. Мне кажется, что вы слишком сурово осудили себя за свое прошлое поведение. Почему, ради всего святого, вы должны вечно пребывать в одиночестве? Разве вы уже не достаточно себя наказали? Вы молоды. Вы способны заработать себе на жизнь. Сколько мне известно, никакие семейные обязательства не привязывают вас к Дорсету.

– У меня есть обязательства.

– По отношению к этому джентльмену из Франции?

Она отвернулась, словно это была запретная тема.

– Позвольте мне договорить. Такие обстоятельства подобны ранам. Если о них не смеют упоминать, они гноятся. Если он не вернется, значит, он вас недостойн. Если он вернется, то я не могу себе представить, что, не найдя вас в Лайме, он так легко откажется от мысли узнать, где вы находитесь, и последовать туда за вами. Ведь это подсказывает простой здравый смысл.

Наступило долгое молчание. Не приближаясь к ней, он передвинулся, чтобы увидеть сбоку ее лицо. Выражение лица было странным, почти безмятежным, как будто слова его подтверждали какую-то глубоко укоренившуюся в ее душе мысль.

Она все еще смотрела на море, где милях в пяти от берега, в полосе проглянувшего солнца шел к западу бриг под красновато-коричневыми парусами. Потом сказала спокойно, словно обращалась к этому далекому кораблю:

– Он никогда не вернется.

– Вы думаете, что он никогда не вернется?

– Я знаю, что он никогда не вернется.

– Я вас не понимаю.

Она повернулась и посмотрела в полное удивления и сочувствия лицо Чарльза. Долгое мгновение она, казалось, чуть ли не наслаждалась его замешательством. Потом опять отвела глаза.

– Я уже давно получила письмо. Этот джентльмен...

Она опять замолчала, словно открыла ему слишком много и теперь об этом сожалеет. И вдруг быстрым шагом, почти бегом, двинулась по лужайке к тропе.

– Мисс Вудраф!

Она прошла еще немного, потом обернулась; и снова эти глаза одновременно его и оттолкнули, и пронзили. Глухой сдавленный голос прозвучал как выстрел, направленный, казалось, прямо в Чарльза.

– Он женат!

– Мисс Вудраф!

Но она не обернулась. Он так и остался стоять. Удивление его было вполне естественным. Неестественным было охватившее его отчетливое чувство вины. Словно он выказал грубое равнодушие, тогда как был уверен, что сделал все, что мог. Несколько секунд после того, как она скрылась из виду, он все еще смотрел ей вслед. Потом обернулся и посмотрел на далекий бриг, словно надеялся найти в нем разгадку этой тайны. Но не нашел.

17

*Вечерний гомон эспланады,
Песок, цветные паруса,
Приветственные голоса,
Улыбки, дамские наряды,*

*Шум моря, шутки на ходу,
Закатный свет на голых скалах,
И тот же, что во всех курзалах,
Оркестр, играющий в саду.*

*Все так знакомо, так не ново...
Но поздней ночью, в тишине,
Она опять явилась мне —
Печальным призраком бывшего.*

Томас Гарди. В курортном городке: 1869 год

В этот вечер Чарльз сидел между миссис Трэнтер и Эрнестиной в лаймском зале ассамблей. Здание лаймских ассамблей, быть может, не шло ни в какое сравнение с ассамблеями в Бате и Челтнеме^[107], но оно было уютным, просторным, и из его окон открывался вид на море. Увы – слишком уютным и слишком любимым всеми местом, чтобы не принести его в жертву Великому Британскому Богу – Удобству, вследствие чего по постановлению городского совета, единодушно озабоченного состоянием обывательского мочевого пузыря, его давно уже снесли и тем расчистили место для постройки, которая по всей справедливости может претендовать на звание наименее удачно расположенной и наиболее уродливой общественной уборной на всех Британских островах.

Однако не следует думать, что поултнинская коалиция Лайма ополчилась лишь против легкомысленной архитектуры здания. На самом деле ее возмущало то, что в нем происходило. В этом заведении процветали джентльмены с сигарами в зубах, балы, концерты и вист. Короче говоря, там поощрялись развлечения, а миссис Поултни и ей подобные отлично знали, что единственное здание, в котором добропорядочный город может позволить людям собираться, – это церковь. Когда в Лайме вырвали с корнем зал собраний, из груди города вырвали сердце, и по сей день никому еще не удалось вложить его обратно.

Чарльз и его дамы пришли в обреченное здание на концерт. Разумеется, светская музыка на этом концерте не исполнялась – был Великий пост, и ничто не нарушало религиозной монотонности программы. Но даже и она шокировала наиболее узколобых жителей Лайма, которые, по крайней мере публично, соблюдали Великий пост столь же неукоснительно, сколь правоверные мусульмане соблюдают Рамадан^[108]. Поэтому перед окаймленным папоротниками возвышением в конце главной залы, где давали концерты, оставалось несколько пустых кресел.

Наша высоколобая троица явилась задолго до начала, как и большая часть публики, ибо на этих концертах – в истинном духе XVIII века – все наслаждались не только музыкой, но и приятной компанией. Они предоставляли дамам великолепную возможность оценить и обсудить наряды своих ближних и, разумеется, похвастать своими собственными. Даже Эрнестина при всем своем презрении к провинции пала жертвой суетности. Здесь по крайней мере лишь немногие будут в состоянии соперничать с нею по части вкуса и роскоши ее туалетов, и взгляды, которые другие дамы украдкой бросали на ее плоскую шляпку (не напяливать же

ей эти старомодные махины с перьями!) с белым бантиком в форме трилистника, на платье светло-зеленого «цвета надежды», на черную с сиреневым отливом мантилью и модные башмачки на шнурках, приятно возмещали скуку, которую ей приходилось терпеть в остальных случаях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

К. Маркс. К еврейскому вопросу (1844). – См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. I. С. 406.

2.

Томас Гарди (1840 – 1928) – известный английский романист и поэт.

3.

Лайм-Риджис (от лат. *regis* – букв. королевский, то есть город, получивший в Средние века королевскую хартию, предоставляющую ему ряд привилегий) – небольшой городок в графстве Дорсетшир на живописном скалистом берегу Лаймского залива. Для защиты от штормовых ветров здесь в середине XIII в. был сооружен огромный каменный мол Кобб, уже в те времена славившийся чудом строительного дела. В прошлом один из крупнейших портов Ламанша, Лайм-Риджис к началу XVIII в. в связи с развитием флота утратил свое значение и превратился в курортное местечко с населением, едва превышающим 3 тыс. человек. Джон Фаулз жил в Лайме и был почетным хранителем лаймского музея как знаток местной истории, географии и топографии. Его перу принадлежат «Краткая история Лайм-Риджиса» (1982) и путеводитель по городу (1984). В настоящем романе писатель очень точно описывает город и его окрестности, вплоть до сохранившихся до наших дней названий улиц и даже гостиницы, где живет герой.

4.

Пирей – гавань, расположенная в 10 км от Афин.

5.

Армада («Непобедимая Армада») – испанский военный флот, в 1588 г. посланный королем Филиппом II против Англии. Была разбита английским флотом и рассеяна штормами.

6.

Монмут Джеймс (1649 – 1685) – внебрачный сын английского короля Карла II. В 1685 г., провозгласив себя законным королем Англии, прибыл из Голландии в Лайм-Риджис и возглавил восстание против короля Якова II, но потерпел поражение, был схвачен и казнен.

7.

Генри Мур (1898 – 1986) – знаменитый английский скульптор.

8.

Оолит – осадочная порода, обычно известняк. Полуостров Портленд в графстве Дорсетшир славится своими каменоломнями.

9.

Луиза Масгроув – одна из героинь романа английской писательницы Джейн Остин (1775 – 1817) «Убеждение» (опубликован посмертно в 1818 г.), отдельные эпизоды которого происходят в Лайме. Ступени, о которых идет речь, сохранились на Коббе до сих пор и являются местной достопримечательностью.

10.

Джон Малькольм Янг (1883 – 1959) – автор ряда трудов по истории викторианской Англии.

11.

Чартисты – участники первого массового, политически оформленного революционного движения английского рабочего класса 30 – 50-х гг. XIX в. Чартизм проходил под лозунгом борьбы за «Народную хартию» (англ. Charter), одним из основных требований которой было всеобщее избирательное право. Левые чартисты, находившиеся под влиянием Маркса и Энгельса, считали главным условием победы революционную борьбу. Чартистское движение, достигшее наивысшего подъема в 40-е гг., создало для правящих классов угрозу революции. Однако незрелость, утопизм, отсутствие единства и четкой программы привели к поражению чартизма. Упадок чартизма связан также с промышленным и колониальным ростом Англии в 50 – 60-е гг. XIX в.

12.

... всего лишь через полгода... выйдет в свет первый том «Капитала». – Первый том «Капитала» К. Маркса вышел в сентябре 1867 г.

13.

Кромлехи и менгиры – ритуальные каменные сооружения кельтов, населявших Британские острова в древности.

14.

Олмек (Уильям Макколл) – основатель и владелец известного в Лондоне в XVIII—XIX вв. клуба и игорного дома.

15.

Баккара – французская азартная карточная игра.

16.

Железнодорожный бум – спекуляция акциями и земельными участками, сопровождавшая широкое строительство железных дорог в Англии в 30 – 40-е гг. XIX в.

17.

«Тридцать девять статей» – свод догматов официальной англиканской церкви, введенный королевским указом и утвержденный парламентом в 1571 г. При вступлении в духовный сан священники были обязаны их подписать.

18.

Оксфордское движение – направление в англиканской церкви, выступавшее за возврат к католицизму, но без слияния с римско-католической церковью. Возникло в 1830-е гг. в Оксфордском университете. Один из его руководителей, священник Джон Генри Ньюмен (1801 – 1890), автор религиозных «Трактатов на злобу дня» (отсюда второе название движения – трактарианство), позже перешел в католичество и в 1879 г. был возведен в сан кардинала.

19.

Белгравия, Кенсингтон – аристократические районы Лондона.

20.

Гладстон Уильям Юарт (1809 – 1898) – английский государственный деятель. Начав политическую карьеру в качестве консерватора, впоследствии стал лидером либералов (вигов).

21.

Маколей Томас Бабингтон (1800 – 1859) – английский историк, публицист и политический деятель, автор пятитомной «Истории Англии» (1849 – 1861).

22.

Лайель Чарльз (1797 – 1875) – выдающийся английский естествоиспытатель, разработавший учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности и эволюционном развитии человека.

23.

Дизраэли Бенджамен, лорд Биконсфилд (1804 – 1881) – английский государственный деятель и писатель. Лидер и идеолог консервативной партии (тори). Вначале был либералом.

24.

Каролина Нортон (1808 – 1877) – английская поэтесса и романистка.

25.

Регентство – период правления (1811 – 1820) принца-регента, будущего короля Георга IV. Стиль эпохи Регентства – неоклассический стиль в архитектуре и мебели.

26.

Стигийский – мрачный, адский. От названия реки Стикс, согласно греческой мифологии окружавшей подземное царство мертвых и разливавшейся в отвратительное грязное болото.

27.

Мальборо-хаус – название дома миссис Поултни подчеркивает ее аристократические претензии. Мальборо-хаус – здание, построенное в Лондоне в начале XVIII в. для государственного деятеля и полководца герцога Мальборо (1650 – 1722); долгое время служило королевской резиденцией.

28.

...сохранявший верность Низкой церкви. – В протестантской англиканской церкви существуют два направления – так называемая Низкая церковь, тяготеющая к протестантизму в его пуританском виде, и Высокая церковь, сторонники которой придерживаются догматов, близких к католицизму, и католических форм богослужения с пышным ритуалом, курением фимиамом и т. п.

29.

Герцог Веллингтонский Артур Уэлсли (1769 – 1852) – английский полководец и государственный деятель; после разгрома Наполеона в битве при Ватерлоо (1815) стал национальным героем.

30.

Десятина – первоначально приношение десятой части дохода в пользу церкви. В Англии десятина шла на содержание духовенства.

31.

Притча о лепте вдовицы – евангельская легенда о том, как Христос предпочел щедрым пожертвованиям богачей скромное приношение бедной вдовы, пожертвовавшей в сокровищницу иерусалимского храма все свое достояние – две мелкие монеты (лепты).

32.

Магдалинские приюты (по имени раскаявшейся библейской грешницы Марии Магдалины) – благотворительные учреждения для падших женщин, желающих вернуться на путь честного труда.

33.

Теннисон Альфред (1809 – 1892) – один из самых прославленных поэтов Викторианской эпохи, поэт-лауреат (официальный титул придворного поэта). «In Memoriam» («В память») – цикл стихотворений, написанных в 1833 – 1850 гг. в память Артура Хэллеме. Скорбя по рано умершему другу, поэт искал утешения в идее бессмертия души.

34.

Физ (Хэлбот Найт Браун, 1815 – 1882) и Джон Лич (1817 – 1864) – известные английские художники-иллюстраторы.

35.

Баски Шарп – героиня романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия», безнравственная эгоистичная интриганка.

36.

Принни (уменьш. от англ. prince – принц) – прозвище принца-регента, известного своим распутством, легкомыслием и ленью.

37.

...невозможность обедать в пять часов... – Поздний обед в XIX в. считался признаком аристократизма.

38.

Харли-стрит – улица в Лондоне, где находятся приемные ведущих врачей; в переносном смысле – врачи, медицинский мир.

39.

...день, когда Гитлер вторгся в Польшу. – 1 сентября 1939 г.

40.

Лондонский сезон – светский сезон (май – июль), когда в Лондоне находится королевский двор и высший свет. Время развлечений, скачек, балов, спектаклей и т. п.

41.

Лаокоон – троянский герой, жрец Аполлона. Пытался помешать троянцам втащить в город деревянного коня, в котором греки спрятали своих воинов. Боги, предрешившие гибель Трои, послали двух огромных змей, которые задушили Лаокоона и его сыновей. Этот эпизод запечатлен в знаменитой античной скульптуре, находящейся в Ватикане.

42.

...«прибежище молитвы бессловесной»... – цитата из стихотворного цикла Теннисона «In Memoriam».

43.

«Цивилизация – это мыло» – афоризм, приписываемый Фаулзом немецкому историку Генриху фон Трайчке (1834 – 1896). В действительности принадлежит немецкому химику Юстусу Либиху (1803 – 1873).

44.

Добрый самарянин – евангельская притча, повествующая о путнике, которого ограбили и ранили разбойники. Его спас добрый самарянин (иносказательно – сострадательный человек, готовый помочь ближнему в беде).

45.

Патмос – один из Спорадских островов в Эгейском море, место ссылки у древних римлян. Сосланный сюда апостол Иоанн Богослов в одной из пещер, по преданию, имел откровение о будущих судьбах мира, которое составило содержание Апокалипсиса. В XIX в. Патмос принадлежал Турции, но на нем сохранился христианский монастырь.

46.

Маклюэн Герберт Маршалл (1911 – 1980) – канадский философ, социолог и публицист. Смена исторических эпох, по Маклюэну, определяется развитием средств связи и общения. Настоящая эпоха является эпохой радио и телевидения, сменивших печать и книгу.

47.

К. Маркс. Капитал (1867). – См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 456.

48.

...Прустово богатство ассоциаций... – Марсель Пруст (1871 – 1922) – французский писатель-романист. Изображал внутреннюю жизнь человека как «поток сознания», в значительной степени обусловленный подсознательными импульсами. Один из творческих приемов Пруста – внутренний монолог, фиксирующий живое течение мыслей, чувств, богатство впечатлений и ассоциаций.

49.

Кокни – уроженец лондонского Ист-Энда, промышленного и портового района к востоку от Сити. Также лондонское просторечие, отличающееся особым произношением.

50.

Сэм Уэллер – слуга мистера Пиквика из романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836 – 1837).

51.

Красавчик Браммел – прозвище Джорджа Бранена Браммела (1778 – 1840), друга принца-регента, известного в Лондоне щеголя и фата.

52.

Сноб – первоначально невежда, простолюдин. Термин «сноб» в его нынешнем значении был введен в обиход У. Теккереем («Книга снобов», 1848) для обозначения людей, которые пресмыкаются перед высшими и презирают низших.

53.

Лесли Стивен (1832 – 1904) – английский писатель, историк литературы и общественной мысли.

54.

Мэри Эннинг (1799 – 1847) – жительница Лайма, самоучка, занимавшаяся поисками окаменелостей. Ее многочисленные находки (в том числе скелеты плезиозавра и птерозавра) внесли известный вклад в палеонтологию.

55.

Аммониты – вымершие беспозвоночные животные класса головоногих моллюсков.

56.

Бедекер Карл (1801 – 1859) – известный немецкий составитель и издатель путеводителей.

57.

Линней Карл (1707 – 1778) – шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира. Был противником идеи исторического развития органического мира и считал, что число видов остается постоянным и неизменным с момента их сотворения Богом.

58.

Мэтью Арнольд (1822 – 1888) – английский поэт и критик. Выступил с критикой мифа о «викторианском процветании», показав, что господство буржуазии привело к засилью филистерства, падению культуры и деградации личности (эссе «Культура и анархия», 1869).

59.

Шервуд Мэри Марта (1775 – 1851) – английская писательница, автор книг для детей и юношества.

60.

Поль и Виргиния. – Имена детей сентиментальной и простодушной миссис Тальбот заимствованы из знаменитого романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787).

61.

Эксетер – один из древнейших городов Англии, известный готическим собором XII—XIV вв.

62.

...родство с семейством Дрейков... – Фрэнсис Дрейк (1540 – 1596) – знаменитый английский мореплаватель и адмирал. Первым после Магеллана совершил кругосветное путешествие, участвовал в разгроме «Непобедимой Армады»; герой многих легенд.

63.

...брехтовский эффект отчуждения... – Бертольт Брехт (1898 – 1956) – немецкий писатель, драматург и театральный деятель; создатель теории «эпического театра», предусматривающей так называемый «эффект отчуждения», то есть прием, с помощью которого драматург и режиссер показывают явления жизни не в их привычном виде, а с какой-либо неожиданной стороны. Актер должен как бы стоять рядом с создаваемым им образом, быть не только его воплощением, но и его судьей.

64.

Боттичелли Сандро (1444 – 1510) – итальянский живописец, представитель флорентийского Возрождения.

65.

Ронсар Пьер де (1524 – 1585) – величайший французский поэт эпохи Возрождения. В своей жизнерадостной лирике воспевал любовь, красоту и природу.

66.

Руссо Жан-Жак (1712 – 1778) – французский мыслитель и писатель, один из представителей французского Просвещения XVIII в. Противопоставлял «естественного человека», живущего на лоне природы, развращенному цивилизацией современному человеку.

67.

Артур Хью Клаф (1819 – 1861) – английский поэт, вольнодумец и скептик.

68.

Уильям Барнс (1801 – 1886) – священник, составитель словаря дорсетширского диалекта, на котором он писал свои стихи.

69.

Бритва Оккама – принцип, выдвинутый английским философом-схоластом XIV в. Уильямом Оккамом: понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте, следует исключить из науки.

70.

Брабазон, Вавасур, Вир де Вир – древние английские аристократические фамилии.

71.

Мейфэр – фешенебельный западный район Лондона; в переносном смысле – светское общество.

72.

Остенде – морской курорт в Бельгии.

73.

К. Маркс. Экономико-философские рукописи (1844). – См.: Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. 2-е изд. М., 1956. С. 563.

74.

Иеремия – библейский пророк, обличавший языческое нечестие и пороки своего времени.

75.

Методисты – члены одной из англиканских церквей, требующие неукоснительного методического соблюдения церковных заповедей. Методистами первоначально называли членов религиозного общества, основанного в 1729 г. братьями Джоном и Чарльзом Уэсли и другими преподавателями Оксфордского университета, отстаивавшими «живую практическую веру».

76.

Содом и Гоморра – согласно библейской легенде, города в древней Палестине, которые за грехи и разврат их жителей были разрушены огненным дождем и землетрясением.

77.

Огораживание – захват крупными землевладельцами общинных земель (XV – XIX вв.), закрепленный рядом актов Британского парламента и приведший к разорению свободных крестьян.

78.

Anschluss – незаконное присоединение гитлеровской Германией Австрии в 1938 г.

79.

Миксоматоз – острое вирусное заболевание кроликов, занесенное в Европу в 1952 г.

80.

«Долина спящих красавиц» («Долина кукол», 1966) – роман современной американской писательницы Жаклин Сьюзен, героини которого, занятые в шоу-бизнесе, принимают в огромном количестве транквилизирующие препараты.

81.

Кольридж Сэмюэль Тейлор (1778 – 1834) – английский поэт-романтик, критик и философ, один из крупнейших представителей так называемой «озерной школы». Одно из его произведений, неоконченный фрагмент «Кубла Хан» (1798), представляет собой видение, вызванное, по свидетельству автора, действием лауданума (тinktуры опия).

82.

Босх Иероним ван Акен (ок. 1450 – 1516) – нидерландский живописец, в творчестве которого изощренная средневековая фантастика, изображение всевозможных уродств и пороков своеобразно сочетались с сатирической тенденцией, смелой реалистической трактовкой народных типов.

83.

Объективный коррелят – согласование эмоционального начала с объективным изображением конкретной психологической ситуации – понятие, заимствованное из эстетики англо-американского поэта и критика Томаса Стернза Элиота (1888 – 1965).

84.

...ходить стезями добродетели... – цитата из официального молитвенника англиканской церкви.

85.

Ален Роб-Грийе (1922—2008) – французский писатель, один из основоположников так называемого «нового романа».

86.

Ролан Барт (1915 – 1980) – видный французский литературный критик-структуралист. Оказал значительное влияние на французский неоавангардистский «новый роман».

87.

...транспонированную. – Транспонировка – переложение музыкального произведения из одной тональности в другую.

88.

...алеаторическому. – Алеаторика – вид современной композиторской техники, предоставляющей жребию или вкусу исполнителя определять последовательность (и ряд других элементов) звучаний, заданных композитором.

89.

Лицемерный читатель – цитата из вступления к стихотворному сборнику известного французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла» (1857). В переводе Эллиса: «Скажи, читатель – лжец, мой брат и мой двойник, / Ты знал чудовище утонченное это?!»

90.

Перикл (ок. 490 – 429 гг. до н. э.) – вождь афинской рабовладельческой демократии, выдающийся оратор.

91.

Входная молитва – церковная песнь, начинающая богослужение.

92.

Девица Марианна. – Здесь имеется в виду возлюбленная героя английских баллад Робин Гуда.

93.

«Эдинбургское обозрение» – ежеквартальный литературно-публицистический журнал либерального направления (1812 – 1929).

94.

Шеридан Ричард Бринсли (1751 – 1816) – знаменитый английский драматург и государственный деятель.

95.

Мельбурн Уильям Лэм (1779 – 1848) – английский государственный деятель.

96.

Флоренс Найтингейл (1820 – 1910) – английская сестра милосердия, посвятившая жизнь улучшению ухода за больными и ранеными. Во время Крымской войны работала в госпиталях, которые часто посещала ночью, за что и получила прозвище «Леди с лампой».

97.

...как я уже говорил по другому поводу... – В книге философских эссе «Аристос» (1965).

98.

Джон Стюарт Милль (1806 – 1873) – английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель. В молодости был сторонником Бентама (см. примеч. к с. 183), затем отошел от утилитаризма. Выступал за предоставление избирательных прав женщинам («Подчиненное положение женщин», 1869).

99.

«Панч» – сатирический еженедельник, основанный в 1841 г.

100.

...в царствование короля Эдуарда... – то есть в 1901 – 1910 гг.

101.

Девушка Гибсона – тип мужественной, энергичной и самоуверенной девушки, созданный американским художником-иллюстратором Чарльзом Дейна Гибсоном (1867 – 1945).

102.

Лафатер Иоганн Каспар (1741 – 1801) – швейцарский ученый, богослов и философ. В своей «Физиономике» (1772 – 1778) разработал так называемую френологию, антинаучную теорию о связи психических свойств человека с внешностью.

103.

Детерминизм – философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира.

104.

Бихевиоризм (от англ. behaviour – поведение) – ведущее направление в американской психологии конца XIX – начала XX в., сводящее психические явления к сумме реакций организма на стимулы.

105.

Вавилонская блудница – согласно библейской легенде, женщина, облаченная в порфиру и багряницу и являвшаяся на звере багряном; иносказательно – проститутка.

106.

...ворвался в такие пределы, куда... ангелы не смеют даже ступить... – видоизмененная цитата из дидактической поэмы известного английского поэта Александра Попа «Опыт о критике» (1711). В действительности звучит так: «Дураки врываются в такие пределы, куда не смеют ступить ангелы».

107.

Бат и Челтнем – известные английские курорты.

108.

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря, когда ежедневно от зари до заката солнца соблюдается пост.

287.

Томас Генри Гексли (1825 – 1895) – английский ученый, соратник и популяризатор Дарвина. Для выражения своих философских взглядов ввел термин «агностик».

288.

Фрейд Зигмунд (1856 – 1939) – австрийский врач и психолог, основоположник психоанализа – метода лечения неврозов, основанного на технике свободных ассоциаций и анализе ошибочных действий и сновидений как способе проникновения в бессознательное. По Фрейду, поведение человека определяется сексуальными влечениями (либидо). Все остальные стремления и деятельность человека, в том числе и художественное творчество, только следствие неудовлетворенного и «сублимированного» (переключенного на другие области) сексуального влечения. Те влечения, которые не сублимируются в какой-либо деятельности, вытесняются в область бессознательного. Согласно Фрейду, сознательное «я» (Ego) представляет собой поле борьбы сил, исходящих из биологической сферы влечений (Id – оно) и установок общества, внутриспсихическим представителем которых является «Сверх-я» (SuperEgo).

289.

«День гнева» – начало латинского гимна о Страшном суде.

290.

Джордж Элиот – псевдоним известной английской писательницы-романистки Мэри Энн Эванс (1819 – 1880). Приведенное здесь устное высказывание приписывается Дж. Элиот эссеистом Ф. Майерсом.

291.

Гладраэли и Дизистон. – Здесь Фаулз сатирически обыгрывает борьбу вокруг реформы парламентского представительства, когда Дизраэли и Гладстон поочередно вносили и отвергали проект нового избирательного закона (второго Билля о реформе), который в 1867 г. был принят по предложению консерватора Дизраэли, несмотря на яростную оппозицию либерала Гладстона. Этот билль окончательно лишил так называемые «гнилые местечки» (в том числе Лайм-Риджис) права посылать депутатов в парламент и предоставил право голоса части рабочего класса.

292.

Статья в «Нью-Йорк геральд трибюн». – Статья в номере от 21 августа 1852 г. «Выборы в Англии. Тори и виги» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 355 – 356).